

иное, как стремление приучить человека к постоянному учету своей аудитории (называя это «умением держаться в обществе»), к верному и тактичному («вежливость» Чичикова!) выражению посредством жестов и мимики социальной установки своих высказываний.

5. ВНЕСЛОВЕСНАЯ (ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ) ЧАСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Но всякое высказывание, помимо этой социальной установки, включает в себе какой-то смысл, какое-то содержание. Лишенное этого содержания высказывание превращается в набор ничего не значащих звуков и теряет свой характер речевого взаимодействия. «Другому» — слушателю — нечего с ним делать. Оно недоступно для его понимания и перестает быть условием и средством языкового общения. К таким очищенным от всякого смысла «высказываниям» относится и приведенное в первой статье «стихотворение» Крученых: «Го оснег кайд Мр багульба...» и т.д. Такие высказывания, быть может и интересные по своей звучности, к языку, в точном смысле этого слова, никакого отношения не имеют и тем самым не подлежат нашему изучению.

Итак, всякому действительному, реальному высказыванию принадлежит какой-то смысл. Однако, взяв любое, самое обычное (шаблонное) высказывание, мы не всегда сможем сразу овладеть его смыслом. Многие читатели, вероятно, слушали и сами произносили слова: вот так история! И все же, сколько бы мы ни бились, мы не поймем смысла этого высказывания, если не будем знать всех условий, при которых оно произносится. При разных условиях, в разной обстановке, — это высказывание всегда будет иметь и различный смысл.

Предоставим нашим читателям самим подыскать примеры, когда одно и тоже словесное выражение «вот так история» будет иметь совершенно различный смысл: то будет знаком удивления, то негодования, то радости, то печали; иными словами, будет нашим ответом, нашей репликой на абсолютно разные и несхожие события и обстоятельства. Почти всякое слово нашего языка может иметь несколько значений, в зависимости от общего смысла целого высказывания. Смысл же этот всецело зависит как от ближайшей обстановки, непосредственно порождающей высказывание, так и от всех отдаленнейших социальных причин и условий данного речевого общения.

Таким образом, каждое высказывание слагается как бы из двух частей: из словесной и внесловесной.

Не забудем, что мы рассматриваем все время только жизненные высказывания, уже сложившиеся или только слагающиеся в определенные житейские жанры. Только в этих простейших высказываниях мы найдем ключ к пониманию языковой структуры высказывания художественного.

Что же представляет собой внесловесная часть высказывания?

Мы легко уясним себе это на следующем примере:

Человек с седенькой бородкой, сидевший за столом, после минуты молчания произнес: м-да! Юноша, стоявший перед ним, густо покраснел, повернулся и ушел.

Что может значить это краткое, но, по-видимому, крайне выразительное высказывание «м-да»? Как бы мы ни изучали его со всех грамматических точек зрения, как бы мы ни разыскивали в словарях все возможные значения этого слова, — мы решительно ничего не поймем в этом «разговоре».

Но ведь разговор этот на самом деле полон смысла, словесная часть его обладает вполне определенным значением, и он является вполне законченным хотя и кратким диалогом: первой репликой служит словесное «м-да», вторую реплику заменяет органическая реакция собеседника (краска на лице) и его жест (молчаливый уход).

Почему же мы в нем ничего не понимаем?

Именно потому, что нам неизвестна вторая, внесловесная часть высказывания, определившая смысл его первой части, словесной. Мы не знаем, во-первых, где и когда происходит событие этой беседы, во-вторых, не знаем предмета разговора, и, наконец, в-третьих, не знаем отношения обоих собеседников к этому предмету, их взаимной оценки его.

Но предположим, что эти три неизвестных нам момента внесловесной части высказывания становятся известными: событие разворачивается у столика экзаменатора; экзаменуемый не ответил ни на один из заданных ему простейших вопросов; экзаменатор укоризненно и с некоторым сожалением произносит «м-да»; экзаменуемый понимает, что он провалился, ему стыдно, и он уходит.

Теперь в поле нашего зрения, в наш кругозор, вошли все скрытые, но подразумеваемые говорящими, стороны высказывания. Совершенно пустое, ничего не значащее на первый взгляд словечко «м-да» наполняется смыслом, приобретает вполне определенное значение и, при желании, может быть расшифровано в виде большой, ясной и законченной фразы, такого, примерно, типа: «плохо, плохо, товарищ! как это ни печально, придется все-таки поставить вам неудовлетворительно». Именно так и понимает это высказывание экзаменуемый, всецело соглашаясь с ним.

Найденные нами три подразумеваемых стороны внесловесной части высказывания: пространство и время события высказывания («где» и «когда»), предмет или тему высказывания («о чем» говорится) и отношение говорящих к происходящему («оценку») условимся называть уже знакомым нам словом — ситуацией.

И теперь нам становится совершенно ясным, что именно различие ситуаций определяет и различие смыслов одного и того же словесного выражения. Словесное выражение — высказывание — при этом не только пассивно отражает ситуацию. Нет, оно является ее разрешением, становится ее оценивающим итогом, и в то же время необходимым условием ее дальнейшого идеологического развития.

Мы уже предлагали нашим читателям произвести опыт с изменением значений слов «вот так история», — т.е. тем самым мы предлагали найти такие ситуации, при которых это выражение получало бы каждый раз иной смысл.

Для большей ясности покажем изменение значения уже знакомого нам восклицания «м-да».

Прежде всего, меняем ситуацию. Вместо экзаменационного стола — окошечко кассы. Кассир протягивает толстую пачку денег — выигрыш по облигации — и чуть слышно произносит: м-да!

В этой ситуации общий смысл высказывания сводится уже не к укоризне, а скорее к несколько завистливому восхищению: ну и подвезло же человеку!.. Эдакую уймашу денег выиграть!

Все это нам достаточно убедительно показывает, какую важную роль играет ситуация для создания высказывания. Не будь говорящие объективны этой ситуацией, не будь у них общего понимания происходящего и определенного отношения к нему, их слова были бы непонятны каждому из них, были бы бессмысленны и не нужны. Только благодаря тому, что для них существует нечто «подразумеваемое», и осуществляется их речевое общение, речевое взаимодействие.

О том, какую роль это подразумеваемое играет в художественном высказывании, нам, конечно, придется говорить в будущем. Заметим пока, что вообще никакое высказывание — научное, философское, литературное — не может обойтись без известной доли подразумеваемого.

6. СИТУАЦИЯ И ФОРМА ВЫСКАЗЫВАНИЯ; ИНТОНАЦИЯ, ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ СЛОВ

W установив, что смысл всякого жизненного высказывания зависит от $\sqrt{}$ ситуации и определяемой ею социальной установки на слушателя $\sqrt{}$ — участника этой ситуации, мы должны перейти теперь к рассмотрению формы высказывания. Ведь содержание и смысл высказывания нуждаются в какой-то осуществляющей, реализующей их форме, вне которой их вообще бы не существовало. Если бы даже высказывание оказалось лишенным слов, то все же должно было остаться звучание голоса (интонация), или хотя бы жест. Вне материального выражения нет высказывания, как нет и переживания.

Так как нам придется иметь дело со словесными высказываниями, то ближайшей задачей является выяснение связи словесной формы высказывания с его ситуацией и аудиторией. Вопросы о художественной форме мы, конечно, сейчас не затрагиваем.

Основными элементами, конструирующими форму высказывания, будем считать прежде всего выразительное звучание слова — интонацию, затем выбор слова и, наконец, размещение слова в целом высказывании.

Эти три элемента, посредством которых строится всякое осмысленное высказывание, обладающее содержанием и имеющее социальную установку, будут рассмотрены нами здесь только вкратце и предварительно, так как в будущем, при анализе конструкции художественного высказывания, они станут одним из главнейших предметов нашего исследования.

Связь высказывания с его ситуацией и аудиторией создается прежде всего интонацией. Мы уже отчасти касались вопроса об интонации в предыдущей статье. Здесь же мы подчеркнем тот момент, что именно интонация играет существеннейшую роль в конструкции и жизненного, и художественного высказывания.

Существует довольно распространенная поговорка: «тон делает музыку». Вот именно этот «тон» (интонация) и делает «музыку» (общий смысл, общее значение) всякого высказывания. Одно и то же слово, одно и то же выражение, произнесенные с различной интонацией, принимают и различное значение. Бранное имя может стать ласкательным, ласкательное — бранным («погоди, миленький, я тебе покажу!..»). Утверждающее слово может стать вопрошающим (да! и да?), уступающее — требующим («виноват я взял ваше пальто» и «виноват, это мое пальто»).

Ситуация и соответствующая аудитория прежде всего определяют именно интонацию, и уже через нее осуществляют и выбор слов и их порядок, через нее осмысливают целое высказывание. Интонация является наиболее гибким, наиболее чутким проводником тех социальных отношений, которые существуют между говорящими в данной ситуации. Когда мы говорили, что высказывание является разрешением ситуации, ее оценочным итогом, то мы имели в виду прежде всего интонацию высказывания. Не развивая дальше нашей мысли, скажем, что интонация — это звуковое выражение социальной оценки. В исключительной важности данного вывода мы убедимся впоследствии, а сейчас приведем только пример, блестяще иллюстрирующий высказанные нами мысли.

Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот; а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот; словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия — не здесь, а в тридесятом государстве; а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных — да просто от страха и слова не выговоришь. Гордость и благородство... и уж чего не выражает лицо его? Просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе, на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, — уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович», говоришь, глядя на него. «Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький, и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все смеется».

Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! «Эхе, хе, хе!» думаешь себе.

В этом отрывке из «Мертвых душ» Гоголь чрезвычайно метко выразил резкое изменение интонации при перемене и ситуации и аудитории высказывания. В той России, которая держалась на крепостном праве, чиновничьем бюрократизме и жандармском удушении всего честного, порядочного и свободомыслящего, — острее всего сказывалось социальное неравенство людей. Это социальное неравенство находило свое выражение прежде всего в различнейших оттенках интонации, от тупо-надменной до униженно-подличающей. Такая интонация овладевала не только голосом, но и всем телом человека: движениями, жестами, мимикой. Воистину — орел превращался в куропатку.

Перемена аудитории (деловое и бытовое общение не с подчиненными, а с начальником) вызвала, конечно, иную социальную установку высказывания. Это немедленно же, как мы видим, отразилось на интонации (манере говорить) и жестикуляции (манере держаться)¹. Если бы Гоголь ввел в приведенный нами отрывок еще и словесный состав высказываний Ивана Петровича, то мы сразу убедились бы, что изменение социальной установки (вследствие изменения ситуации и аудитории) отражается не только на интонации, но через нее и на выборе, и на размещении слов во фразе. Не забудем, что интонация — это прежде всего выражение оценки ситуации и аудитории. Поэтому каждая интонация требует и соответствующего ей — «подходящего» — слова и указывает, назначает то или иное место слову в предложении, предложению во фразе, фразе в целом высказывании.

В другом месте «Мертвых душ», в сцене знакомства Чичикова с Плюшкиным, мы имеем меткое изображение процесса выбора слова, слова, которое наиболее подходило бы к социальному взаимоотношению говорящего и слушающего, которое до тонкости учитывало бы решительно все детали социального лица собеседника — его состояние, чин, общественное положение и т.п.:

Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения; но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слова: добродетель и редкие свойства души можно с успехом заменить словами: экономия и порядок; и потому, преобразив таким образом речь, он сказал, что наслышась об экономии его и редком управле-

¹ Вспомним наше указание, что «манеры» человека являются жестикуляционным выражением социальной установки высказывания. В приведенном примере мы это как раз и наблюдаем.

нии именами, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение...

Здесь в сознании Чичикова еще идет спор между несколькими, наиболее подходящими словами. Ему приходится взвешивать соотношение между диким беспорядком и поражающей грязью жилища Плюшкина, его изумительно сальной, разлезающей нищенской одеждой — и тем, что он богатейший помещик, владелец более чем тысячи крепостных душ.

Отлично, в конце концов, разобравшись в данной ситуации, поняв и правильно оценив ее, Чичиков нашел и верную интонацию и соответствующие ей слова. Разместить же эти слова в законченную фразу было уже просто. Данная обстановка и данный слушатель (ситуация и аудитория) не требовали никакой особой стилистической обработки фразы. Можно было легко удовлетвориться готовым и общераспространенным («стереотипным») оборотом речи: «наслышась об экономии... и пр., почел за долг познакомиться...» и т.д.

7. СТИЛИСТИКА ЖИЗНЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Однако, в другой ситуации для Чичикова шел вопрос уже не только о выборе, но, главным образом, о размещении слов, о всей стилистической конструкции своего высказывания. Собеседник — уже не Плюшкин, а генерал Бетрищев. И вот — слишком большой общественный вес, генеральский чин и самая наружность Бетрищева заставили Чичикова строить свои высказывания с чрезвычайной изысканностью. Не говоря уже об интонации, по-видимому, особо почтительной и несколько торжественной, самый словесный состав речи Чичикова оказался пропитанным не обиходными, бытовыми словами, а церковью-книжными, архаическими (устаревшими) «словесами».

Принцип выбора слов для Чичикова в данной ситуации был очень прост: высокое социальное положение слушателя требовало и «высоких», необыденных, слов и «высокого», приподнятого, стиля. Те слова, которые были обычны в разговоре с помещиками средней руки или чиновником невысокого ранга, казались здесь недопустимыми. И не только слова. Самое расположение их должно было быть особенным, придававшим речи плавное, ритмическое течение, какую-то музыкальность и поэтичность. Недостаточно было просто и ясно изложить свою мысль: требовалось ее украсить сравнениями, расцветить особыми оборотами речи, сделать ее чуть ли не художественным произведением, чуть ли не стихами.

Наклоня почтительно голову набок, начал он так: «Счел долгом представиться вашему превосходительству. Питая уважение к доблестям мужей, спасавших отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству».

Генералу, как видно, не понравился такой приступ. Сделавши весьма милостивое движение головой, он сказал: «Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?»

«Поприще службы моей», сказал Чичиков, садясь в кресло не в середине, но наискось, и ухватившись руками за ручки кресел: «началось в

казенной палате, ваше превосходительство; дальнейшее же течение оной продолжал в разных местах: был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможене. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн, ваше превосходительство. На терпенья, можно сказать, вырос, терпением воспоен, терпением спеленат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье. А уже сколько претерпел от врагов, так ни слова, ни краски не сумеют передать. Теперь же, на вечере, так сказать, жизни своей, ищу уголка, где бы провести остаток дней».

Что же является наиболее характерным в конструкции этого высказывания? Мы откинем самое содержание речи Чичикова, связанное, конечно, с общим содержанием целого произведения, и остановимся только на его форме. Не забудем при этом: мы условно предполагаем что перед нами не литературное произведение (стилистику которого нам рано изучать), а документ действительного высказывания, когда-то произнесенного реальной личностью в реальной обстановке.

Такой прием условного истолкования литературного высказывания как высказывания жизненного, исторически осуществившегося, — вещь, конечно, научно опасная и допустимая лишь в исключительных случаях. Не имея, однако, граммофонной пластинки, которая могла бы нам передать действительную запись беседы живых людей, приходится пользоваться литературным материалом, все время, конечно, учитывая его особую — художественную — природу.

Итак, примем пока вымысел, отражающий жизнь, за самую жизнь, не задаваясь вопросом о степени портретного сходства художественной действительности «Мертвых душ» с исторической действительностью русской жизни 20-х — 30-х годов XIX века. Допустим, что перед нами — дошедшая через столетие беседа таких двух особ, одной, чрезвычайно почтенной, превосходительной особы, величественного вида, — генерала Бетрищева, и другой, менее почтенной и менее представительной, однако, вполне «респектабельной»¹ вида — коллежского советника Чичикова.

Следуя нашей схеме, мы должны были бы прежде всего установить связь и зависимость между общей хозяйственной и политической жизнью России того времени и разбираемым нами типом социального общения (бытовым). Этого, конечно, мы не имеем права делать. Нельзя непосредственно переходить от действительной экономики и политики к типу социального общения, изображенному в литературном произведении. Но мы можем, не рискуя ошибиться, предположить, что связь и зависимость между экономическим «базисом» (хозяйственной «основой» общества) и типом бытового общения в «поэме» Гоголя является в той же мере осуществленной, как и в действительной жизни. Это же самое предположим и в отношении связи и зависимости между типом бытового общения и типом происходящего в нем речевого взаимодействия.

Таким образом, нам остается показать, как данная ситуация и аудитория нашли свое выражение в конструкции уже определившегося и

¹ Респектабельный — приличный, благопристойный.

завершенного житейского жанра — в диалоге знакомящихся лиц, стоящих на разных ступенях социально-иерархической лестницы.

Ситуация и аудитория, как мы уже раньше говорили, прежде всего определяют социальную установку высказывания и, конечно, *самую* тему разговора. Социальная установка в свою очередь определяет интонацию голоса и жестикуляцию (отчасти зависящих и от самой темы разговора), в которых находит свое внешнее выражение то или иное отношение говорящего к данной ситуации и слушателю, та или иная оценка их.

Но что, однако, является содержанием, тематическим составом высказываний Чичикова? Данный отрывок заключает в себе две темы: 1) тему обоснования знакомства и 2) тему повествования о своей жизни.

Эти две темы интонированы с чрезвычайной почтительностью и самоприниженностью. Правда, мы можем лишь догадываться об интонации Чичикова. Она не дана нам в так называемой «авторской речи», обрамляющей речи героев. Однако, приняв во внимание указанное «авторской речью» жестикуляционное выражение социальной установки высказываний Чичикова («наклоня почтительно голову набок...» и «садясь в кресло не в середине, но наискось и ухватившись руками за ручки кресел...»), мы можем не сомневаться, что и интонация Чичикова вполне соответствовала превращению «орла в куропатку».

С подобной интонацией гармонировал и выбор слов. Одну особенность мы уже отметили: господство слов и выражений, заимствованных из церковно-книжной речи.

Вторая особенность: большое количество «описательных» слов и «описательных» выражений, заменяющих привычные названия тех или иных предметов речи.

Наконец, третья особенность: полное отсутствие личного местоимения «я» (и в прямом, и в косвенных падежах).

Уже первый обмен репликами со стороны Чичикова и генерала Бетрищева разоблачает истинное социальное взаимоотношение говорящих, определившее весь стиль их разговорной речи. Правда, возможность широкого и оригинального выбора слов в этой реплике весьма ограничена для Чичикова. Тот жанр, который уже исторически сложился и завершился в подобных типах бытового общения, не допускает слишком свободных и разнообразных вариаций (изменений). Тем не менее, и в эти традиционные, ставшие языковыми шаблонами, формулы представления себя лицу иерархически высшему, Чичиков совершенно незаметно умудрился внести такие оттенки («нюансы»), так видоизменить не только смысловую, но отчасти и грамматическую конструкцию фразы, что словесно выраженная социальная дистанция (расстояние) между собеседниками оказалась еще более подчеркнутой.

Основное стилистическое устремление Чичикова — это построить свое высказывание так, чтобы его личность оказалась как можно более незаметной, затушеванной. Прямой смысл его первой фразы следующий: «Ваше превосходительство! Я считаю своим долгом представиться вам, вследствие того, что я чувствую уважение...» и т.д.

Что же делает с ней Чичиков? Он опускает личное местоимение, ставит глагол в прошедшем времени и сокращает фразу, заменяя звательный падеж обращения к генералу его дательным падежом: «счел долгом представиться вашему превосходительству».

Получается любопытный смысловой штрих, подчеркивающий ничтожность Чичикова и важную значительность его собеседника. Фраза начинает наполняться несколько иным значением, которое может быть истолковано приблизительно так: некто счел долгом представиться... и т.д.

Почему «некто»? Да только потому, что Чичиков как таковой еще не известен генералу, и это даже вовсе и не нужно: «должно ли быть анаemo имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями?» — говорит несколько дальше сам Чичиков.

Но почему же «счел», а не считает? Опять-таки лишь потому, что первый же проблеск сознания такого долга требует мыслить, представлять себе этот долг, как уже исполненный. Но вот, счастливое и радостное событие свершилось, наконец, не в мысли, а в действительности: он — некто, неизвестный генералу — стоит перед лицом высокой особы, ожидая почтительно результатов своего дерзкого предприятия.

Так шаблонная языковая формула знакомства с лицом генеральского типа засияла новым смыслом, окрасилась новыми стилистическими красками и как в зеркале отразила истинное социально-иерархическое взаимоотношение собеседников. Но все эти новые оттенки (нюансы) мысли мы смогли уловить, понять и резко подчеркнуть только благодаря знанию внесловесной части высказывания.

Но последуем дальше. Сделанный Чичиковым шаг к знакомству может показаться все-таки слишком смелым. Необходимо не медленно обосновать и оправдать свою решимость. Это и является задачей его следующей фразы. В ней также отсутствует грамматический намек на личность говорящего. Было бы неуместно вдруг подчеркнуть свое существование посредством личного местоимения, да еще в какой-нибудь многословной фразе, вроде: «я уважаю храбрость генералов, защищавших Россию... и т.д., и вследствие этого я считаю долгом...» и т.д. Ведь сообразно общественному положению Чичикова (по сравнению с его собеседником) и высказывания его должны обладать скромностью, краткостью и той приподнятостью стиля, которая неизбежно рождается из сознания торжественности такой минуты, как личное общение с самим генералом Бетрищевым!! Умный плут и ловкий авантюрист — Чичиков — слишком хорошо умеет играть на слабых струнках своих собеседников. Длинная и несколько развязная фраза немедленно сжимается, исчезают личные местоимения, точные наименования предметов заменяются описательными выражениями: «Питая уважение» к чему? уж конечно не к храбрости, а «к доблести...» чьей? не генералов, а «мужей...» каких? не защищавших Россию, а «спасавших отечество...» где? не в сражениях, а «на бранном поле».

Этих мотивов (поводов), да еще столь убедительно и художественно изложенных (с точки зрения, конечно, только Чичикова и генерала Бетрищева), пожалуй, достаточно для оправдания смелого поступка Чичикова. Поэтому заключающее всю эту фразу главное предложение, кото-

рое уже как бы в новом смысловом свете рисует, путем повторения, первую фразу Чичикова («счел долгом...» и т.д.), осложняется еще включением в него слова «лично». Это слово, появление которого солидно подготовлено суммой изложенных мотивов к знакомству, намекает на возможность перехода, переключения всего высказывания в плоскость других отношений, имеющих более личный, более непосредственный характер. И действительно, ответная реплика генерала, несмотря на свою лаконичность¹, отрывистость и стереотипность (результат социальной установки на человека более низкого чина), все-таки показывает своей приветливой интонацией, что словесный маневр Чичикова удался. Тема «обоснования знакомства» может перейти теперь в тему «повествования о своей жизни» — и это позволяет ему в следующем высказывании уже непосредственно обращаться к генералу, ставя титул его в дательном падеже, и кроме того, включить в свою речь некоторое количество местоимений притяжательных («службы моей», «жизнь мою» и т.п.).

Развитие этой второй темы совершается также при помощи церковно-книжных слов («теченье оной») и описательных выражений, к которым прибавляются еще сравнения (жизнь — судно среди волн) и так называемые метафоры² («вечер жизни» — вместо «старость»). Однако, какие-нибудь яркие сравнения и метафоры могут слишком подчеркнуть индивидуальность речевого стиля Чичикова, могут показаться несколько вычурными и тем самым назойливо привлекающими внимание к личности говорящего. Поэтому Чичиков сопровождает их как бы извиняющимися оговорками, как бы виновато оглядывается на своего собеседника: «на терпеньи, можно сказать, вырос... и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье...» Или «На вечере, так сказать, жизни своей...»

Всех указанных приемов, конечно, еще мало для построения фразы. Интонация, выражающая социальную установку, не только требует слов или выражений определенного стиля, не только придает им тот или иной смысл, но и указывает им место, размещает их в целом высказывании.

В этом отношении особо интересную роль играет титул генерала, т.е. слова «ваше превосходительство». По своему прямому смысловому значению они являются формой обращения к лицу в генеральском чине, и как такое обращение должны были бы стоять в начале фразы. Между тем, в разговорно-бытовых жанрах издавна наблюдалось стремление ставить эти слова либо в конце фразы, либо в ее середине (чаще всего после первого предложения). Чичиков закрепляет за ними место в конце фразы, причем они, разделяя всю словесную массу на отдельные смысловые отрезки, получают некоторое композиционное значение. Эти слова в то же время являются и как бы заключительным интонационным аккордом этих различных отрезков высказывания. Вначале они завершают одну короткую фразу («счел долгом...» и т.д.), затем более длин-

¹ Лаконичный — краткий, сжатый и в то же время выразительный.

² Метафора — слово, употребляемое в переносном значении, благодаря какому-нибудь косвенному сходству с обозначаемым предметом. Об этом подробнее — в следующей статье.

ную («питая уважение...» и т.д.), наконец, во второй, повествовательной реплике расстояние между ними все больше и больше увеличивается.

Такой прием Чичикова вполне понятен. Слова «ваше превосходительство» более всего подчеркивают социально-иерархическую сторону внесловесной части высказывания. По ходу развития ситуации, интонационный упор делается прежде всего на эти слова, и лишь постепенно в оценивающее восприятие генерала вводятся все большие и большие словесные массы.

Эти словесные массы обладают чрезвычайно плавным, ритмическим течением. Но это течение отнюдь не однообразно. Прежде всего поток речи Чичикова расчленен на несколько разных по величине частей, из которых каждая и замыкается словами «ваше превосходительство». Эти слова, по своему композиционному месту, требуют некоторой остановки в движении речи, так называемой паузы.

Мы не имеем еще права останавливаться на вопросах, связанных с ритмикой прозаической речи, но все же попытаемся указать на некоторую стилистическую особенность размещения слов в речи Чичикова.

Нарастающее ритмическое движение каждой отдельной фразы (в теме «обоснования знакомства») или группы фраз, объединенных одним смысловым развитием (в теме «повествования о своей жизни»), как бы разрешается и успокаивается в словах «ваше превосходительство». Эти слова образуют то, что мы будем называть словесным повтором или рефреном¹.

В то же самое время этот рефрен подчеркивает постоянную направленность речи именно к своему, иерархически выше стоящему собеседнику. Но эта направленность учитывает ситуацию и, следовательно, тем самым учитывает тип речевого взаимодействия, т.е. самый жанр данной беседы: здесь не рапорт, не доклад, не петиция (просьба) генералу. Здесь — его превосходительство, генерал Бетрищев, снизошел до житейской встречи и собеседования с простым смертным, с каким-то незначительным, незаметным Чичиковым! В иной ситуации возник бы иной жанр, — и вся фраза должна была композиционно перестроиться. Слова «ваше превосходительство» стояли бы не в конце фразы, не завершали бы ее интонационное движение и ритмический разбег, а служили бы их началом («зачином») и стояли бы впереди фразы. Определяемый новой ситуацией жанр — например, доклада или рапорта — требовал бы иной интонации, более сухой и официальной. В связи с этим изменился бы и принцип выбора и, конечно, размещения слов; короче говоря, изменилась бы вся стилистическая окраска фразы. Ведь жанр доклада или рапорта, обусловленный совсем иным типом социального общения, вряд ли допустил бы, например, такую ритмическую расстановку слов, какую мы имеем в приведенных нами высказываниях Чичикова. Ситуация же знакомства с генералом в его домашней обстановке вполне допускает эту, даже несколько нарочитую и искусственную речевую ритмику. Здесь — Чичикову нужно пленить генерала своим тонким обращением, своим умом, своим умением владеть словом. И Чи-

¹ Рефрен — припев из одного или нескольких слов.

чинов блестяще выполняет этот план, начав знакомство мастерски построенным высказыванием.

В качестве одного только примера стилистических особенностей чичиковской речи, укажем на необычайно ритмическое начало второй реплики Чичикова (тема «повествования о своей жизни»).

Если мы попробуем сильно подчеркнуть («акцентировать») ударения в словах первой и второй фразы и углубить паузы после знаков препинания, то мы легко заметим основной принцип размещения этих слов.

Прежде всего напрашивается, даже отчасти предуказанное автором, расчленение этих фраз на ритмические группы из трех слов. Уже первая группа выделена «авторской речью», которая следует за началом чичиковской фразы: «Поприще службы моей», [сказал Чичиков, сядя в кресла... и т.д.]. Вторая группа также оказалась выделенной, но уже не «авторской речью», а рефреном самого Чичикова «началось [в казенной] палате, [ваше превосходительство]»...

Такое выделение двух словесных групп уже отчетливо намекает на возможность и дальнейшего членения чичиковской речи. Действительно, ничто не мешает нам сделать маленькую паузу после следующих за ними новых трех слов: «дальнейшее же [течение оной]» — Чичиков мог бы здесь даже сделать какой-нибудь соответствующий жест — «продолжал [в разных] местах»... Неожиданно мы видим, что и после нашей паузы также появилась группа из трех слов.

Следуя тому же способу, попытаемся расчленить и следующую фразу: «был [и в надворном] суде, [] и в комиссии (построения) и в таможене».

Попробуем теперь изобразить наше членение уже соответствующим зрительным расположением слов, которое наглядно представит нам ритмическую конструкцию разбираемого высказывания:

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Поприще | службы | моей |
| началось | в казенной | палате, |
| ваше превосходительство; | | |
| дальнейшее же | теченье | оной |
| продолжал | в разных | местах: |
| был | и в надворном | суде, |
| ив комиссии | построения, | и в таможене. |

Что же мы сделали?

С помощью резкого подчеркивания ударений, удлинения пауз и расположения словесных групп по отдельным строчкам, мы превратили разговорную речь Чичикова в стихи!²

¹ Предлоги, союзы и приставки в счет не идут, так как ритмически они сливаются с рядом стоящими словами.

² Эти «стихи», конечно, отличаются от стихов Пушкина и Некрасова прежде всего своей особой системой стихосложения, называемой «акцентной». Современные представители «акцентного стиха» — Маяковский, Тихонов и др. О системах стихосложения подробно будем говорить в следующих статьях.

Конечно, мы прибегли к такому грубому и примитивному приему утрирования (доведения до крайности) ритмики только лишь из педагогических соображений. Нам нужно было возможно яснее показать читателю стилистическое своеобразие жизненного высказывания Чичикова, с его вкрадчивой и льстивой интонацией, с его особым подбором приятных собеседнику слов.

Это стилистическое своеобразие сплошь, со всех своих сторон, определяется чисто социальными моментами: ситуацией и аудиторией высказывания.

На этом мы должны пока остановиться.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

СЛОВО И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

1. КЛАССОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ И СТИЛИСТИКА ВЫСКАЗЫВАНИЯ. 2. СЛОВО КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК. 3. ЗНАК И КЛАССОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

1. КЛАССОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ И СТИЛИСТИКА ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Итак, мы убедились, что стилистическая окраска высказываний Чичикова, как и вообще всякого высказывания, определяется отнюдь не только индивидуально-психологическими намерениями, не только «переживаниями». Мы показали, как вся совокупность условий данной ситуации и данной аудитории (и в особенности социально-иерархическая дистанция между говорящими) определила всю конструкцию высказывания: и общий смысл речевого выступления Чичикова, и темы этого выступления, и интонацию, и выбор слов, и их размещение.

Но попробуем представить себе в той же самой ситуации знакомства с генералом Бетрищевым не представителя служилого дворянства — коллежского советника Чичикова, а какого-нибудь купчину I гильдии — российскую разновидность «рыцарей торгового капитала».

Неужели стилистика речи купца-толстосума, из деловых соображений приехавшего знакомиться с «почтенным» генералом, претерпит какие-либо существенные изменения?

Ведь внешне ситуация осталась та же самая, переменилась лишь социальная установка высказывания, — неужели этого может быть достаточно для резкого изменения всей стилистической структуры высказывания?

На этот вопрос ответить чрезвычайно легко. Достаточно вспомнить наше определение социальной установки как зависимости высказывания от социально-иерархического веса аудитории, т.е. от классовой принадлежности собеседников, их профессии, имущественного состояния, служебного положения или, как

это, например, было в дореформенной России, от их титула, чина, количества крепостных душ, сословия и т.п.¹

Если мы прибавим сюда еще само собой разумеющееся влияние культурности собеседников, т.е. степени их умственного и социально-нравственного развития, степени широты их идеологического кругозора, то вопрос, поставленный нами, решается сам собой: социальная установка высказывания играет решающую роль в его стилистической структуре.

Купец, очутившийся на месте Чичикова, совершенно иначе будет строить свою фразу. Ему и в голову не придет мысль о том, что возможно избрать поводом для знакомства «уважение к доблестям мужей, павших на поле брани». Ведь если он миллионер, благодаря своим миллионам получивший доступ в дворянские круги и хорошо пообтершийся, хорошо отшлифованный в салонах и гостиных, — то он, конечно, будет чувствовать себя почти на одном социальном уровне с генералом Бетрищевым. А в этом случае — вряд ли он унижится до такой витиеватой и подхалимствующей фразы. Если же он победнее, то он просто не сумеет «по-чичиковски» построить свое высказывание: ведь ему вряд ли удалось в своей жизни вкушать плодов запретного древа дворянской культуры и усвоить себе столь принятую в дворянских кругах изысканность словесного обращения.

Правда, какой-нибудь бывший семинарист из поповичей, — разночинец, делающий карьеру не с помощью таланта и творческой энергии, как это бывало в истории, а с помощью лести, хитрости и разных неблагоприятных приемов — смог бы построить фразу с еще большим стилистическим треском и звоном. И все-таки, при всем внешнем тематическом сходстве речевых выступлений мелкопоместного дворянина, купца и разночинца-поповича в той же самой ситуации стилистическая разница будет громадная.

— Почему?

— Только потому, что классовая принадлежность говорящего отнюдь не внешним образом, не темой разговора организует стилистическую структуру высказывания. Классовая идеология изнутри (посредством интонации, выбора и размещения слов) проникает всякую словесную конструкцию и не только ее содержанием, но самой ее формой выражает и осуществляет отношение говорящего к миру и людям, отношение к данной ситуации и данной аудитории.

И вот это, всегда классовое, отношение к миру и к людям, к данной ситуации и к данной аудитории и является тем существенным моментом нашего исследования, к установлению которого и вел весь ход наших рассуждений.

Но каким образом классовое отношение вообще может перейти в высказывание и отразиться в нем? Благодаря чему возможен тот факт, что вся система классовых взглядов, точек зрения оценок, мнений (т.е. идеологическая сторона всякой ситуации), может получить столь важную

¹ См. нашу статью в третьем выпуске «Литературной учебы» — стр. 73.

роль и в смысловом строении, и в стилистической организации высказывания?

Ответить на это возможно, лишь уяснив себе сущность слова как идеологического знака.

2. СЛОВО КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК

До сих пор, говоря о языке и его социальной основе, мы имели в виду преимущественно целое высказывание, независимо от количества составляющих его слов. Такое целое, как бы тематически законченное высказывание может заключать в себе даже одно-единственное междометие, вроде «м-да» или «эхе-хе-хе» и т.п. Но мы теперь должны подойти к рассмотрению тех отдельных словесных единиц, которые связаны с более определенными смысловыми значениями.

Что же такое «слово»?

Присматриваясь к окружающей нас действительности, мы заметим в ней как бы два рода вещей. Одни вещи, как например, явления природы, орудия производства, предметы быта и т.п., не обладают никаким идеологическим значением. Мы можем ими пользоваться, восхищаться ими, изучать их конструкцию, отлично уяснить себе и процесс их изготовления, и их назначение в производстве, — но при всем желании, мы не можем считать, например, танк или паровой молот «знаком», обозначением чего-то другого, какого-нибудь иного предмета или события.

Совсем другое дело, если мы возьмем камень, выкрасим его известкой и положим на меже между двумя колхозами. Такой камень получит определенное «значение». Он не будет уже означать только себя, только камень как часть природы, — он получит иной, новый смысл. Он будет указывать на нечто, вне его самого находящееся. Он станет указателем, сигналом, т.е. знаком с одним твердым и неизменным значением. Знаком чего? Знаком границы, проходящей между двумя земельными участками.

Таким же точно образом, если бы мы увидели стоящий на площади в дни первомайских демонстраций — или если бы нам показали даже просто нарисованный на бумаге гигантский паровой молот, раздавливающий танк, мы решительно ничего не «поняли» бы в этом. Но достаточно было бы изобразить на паровом молоте советский герб (серп и ручной молот), а на танке — двуглавого орла, да прибавить еще группу рабочих, пускающих в ход этот паровой молот, и кучу генералов, в панике выскакивающих из танка, — то смысл такой, как обычно говорят, «аллегорической» картины нам стал бы немедленно понятен: диктатура пролетариата уничтожила контрреволюцию.

Здесь паровой молот является знаком, «символом» всей мощности и неотвратимости пролетарской диктатуры, а раздавливаемый танк — символом крушения белогвардейских замыслов. Равным образом, серп и молот являются не просто изображением орудий производства, а символом пролетарского государства. Двуглавый же орел — символ царской России.

Но что, собственно, произошло? — Произошло следующее: явление материальной действительности стало явлением действитель-

ности идеологической: вещь превратилась в знак (конечно, тоже вещный, материальный). Изображенные на рисунке паровой молот и танк отражают собой какие-то действительно происходящие в жизни события, находящиеся, конечно, вне этого рисунка, вне клочка бумаги, исчерченного карандашом. Но возможно также и частично сближать предметы материнной культуры со смысловой областью с областью значений.

Например, можно идеологически разукрасить орудие производства. Так, каменные орудия первобытного человека уже покрыты иногда изображениями или орнаментами, т.е. покрыты знаками. Само орудие при этом, конечно, не становится знаком.

Можно, далее, орудию производства придать художественную завершенность формы, притом так, что это художественное оформление будет гармонически сочетаться с целевым производственным назначением орудия. В этом случае происходит как бы максимальное сближение, почти слияние знака с орудием производства. Но все же и здесь мы замечаем отчетливую смысловую границу: орудие как таковое не становится знаком, и знак как таковой не становится орудием производства.

Также и продукт потребления можно сделать идеологическим знаком. Например, хлеб и вино становятся религиозными символами в христианском обряде причащения. Но продукт потребления как таковой отнюдь не является знаком. Продукты потребления можно, как и орудия, соединять с идеологическими знаками, но при этом соединении не стирается отчетливая смысловая граница между ними. Так, хлеб выпекается в определенной форме, и эта форма отнюдь не оправдывается только потребителем назначением хлеба, но имеет и некоторое, пусть примитивное, знаковое, идеологическое значение (например, форма кренделя или розанчика).

Знаки также — единичные материальные вещи и, как мы видели, любая вещь природы, техники или потребления может сделаться знаком, но при этом она приобретает значение, выходящее за пределы ее единичного существования (вещи природы) или определенного назначения (служить той или иной производственной или потребительской цели).

Не происходит ли то же самое и с нашими «словами»? Не является ли слово также материальной вещью, ставшей знаком?

Конечно, это не совсем так. Ведь слово не существует сперва как вещь природы или техники, и уже только потом, путем известного «превращения», становится знаком. По самой своей сути, слово оказывается с самого начала чистейшим идеологическим явлением. Вся действительность слова всецело растворяется в его назначении быть знаком. В слове нет ничего, что было бы равнодушно к этому назначению и не было бы порождено им.

Однако, слово, будучи идеологическим явлением, в то же время является и частью материальной действительности. Правда, материал его несколько особый, который нельзя ни потрогать руками, ни попробовать на вкус, ни измерить сантиметром, ни взвесить на весах. Этот материал — звук, создаваемый движением наших органов речи и, как всякий звук, подчиняется законам материальной действительности, законам природы.

Но для того, чтобы образовалось слово, мало этой акустической¹ и физиологической² основы. Ведь звук, даже членораздельный, не станет словом, если не будет что-то «означать», т.е. если его не будут понимать как нечто, что отражает и выражает какие-нибудь явления действительности — явления природы или общественного сознания. Без такого понимания слово не будет словом. Но то, что мы называем пониманием, не есть какое-то «духовное», «нематериальное», нигде и никак не выраженное явление, какой-то чудесный сверхъестественный процесс, совершающийся в «душе» человека. Мы ведь уже говорили в своей первой статье о том, что такое сознание. Мы показали его идеологическую и, следовательно, социальную структуру и убедились, что без внутренней речи сознания не существует. Внутренняя же речь — главным образом состоит из слов, т.е. вполне материальных знаков, только произносимых не вслух, а «про себя». Понимая какое-нибудь слово или сочетание слов, мы как бы переводим эти слова из внешней (услышанной или прочитанной) речи другого человека в свою внутреннюю речь, вновь и вновь воспроизводим их там, окружаем их другими словами, находим им свое особое место в общем речевом потоке нашего сознания.

При этом наше понимание, как мы это выяснили во второй статье, всегда носит характер «оценивающего ответа», характер реплики.

Ясно и без дальнейших пояснений, что всякие идеологические знаки (словесные, изобразительные и т.п.) могут образоваться лишь в социально-организованном коллективе людей. Мир животных идеологическими знаками не обладает.

Но и в мире человека не существует идеологических знаков для всех решительно имеющихся явлений природы и событий истории. На каждом этапе развития общества имеется особый и ограниченный круг предметов, доступных социальному вниманию. Только этот круг предметов получит знаковое оформление и станет темой идеологического, следовательно, знакового общения.

Но для того, чтобы предмет, к какому бы роду действительности он ни принадлежал, вошел в социальный кругозор группы и вызвал бы знаковую, идеологическую реакцию, — необходимо, что бы этот предмет был связан с существенными социально-экономическими предпосылками бытия данной группы, необходимо, чтобы он задел как-то, хотя бы краем, основы материального существования данной группы.

Индивидуальный произвол при этом, конечно, никакого значения иметь не может. Ведь знак творится между индивидами, в социальной среде, в обществе.

Но ведь человечество знает пока единственный главнейший двигатель общественной истории — классовую борьбу.

Поэтому всякий идеологический знак, являясь продуктом человеческой истории, не только отражает, но и неизбежно преломляет все явления общественной жизни.

¹ Акустика — отдел физики, изучающий явления звука.

² Физиология — наука, изучающая человеческий организм.

Что это значит? Только то (главнейший и существеннейший факт для всякого писателя!), что в одном и том же знаке отражаются и проявляются разные классовые отношения. Никакое слово абсолютно точно («объективно») не отражает своего предмета, своего содержания. Ведь слово не фотография того, что оно означает. Слово — это значащий звук, сказанный или подуманный каким-то действительным человеком в определенный момент действительной истории, и являющийся, следовательно, целым высказыванием или его составной частью, его элементом. Вне такого живого высказывания слово существует лишь в словарях, но там оно мертвое слово, только совокупность каких-то прямых и полукруглых линий — следов типографской краски на листах белой бумаги. Книги и рукописи, которые читаются лишь мышами — это предметы, уже выпавшие из социального употребления, из социального использования, отброшенные обществом, как ненужные черепки или сгнившие щепки. Утонувший корабль, занесенный илом и затянутый водорослями — в гораздо большей степени предмет природы, чем простой кусок камня, которым мы, за неимением молотка, забиваем гвозди или колем орехи.

Так и слово становится словом только в живом социальном общении, в действительном высказывании, которое может быть понято и оценено не только одним говорящим, но и его возможной или наличной аудиторией.

3. ЗНАК И КЛАССОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Но вспомним еще раз, что этот говорящий принадлежит к какому-нибудь классу, обладает какой-либо профессией, имеет ту или иную степень культурного развития. Наконец, он произносит слово (вслух или про себя) в какой-нибудь обстановке при наличном или предполагаемом слушателе. И благодаря всем этим условиям, этим силам («факторам»), которые организуют и содержание и форму его высказывания, — слова говорящего всегда пронизаны взглядами, мнениями, оценками, которые в последнем счете неизбежно обусловлены классовыми отношениями.

Всякое слово, сказанное или подуманное, становится таким образом, известной точкой зрения на то или иное явление действительности, на ту или иную ситуацию. И эта действительность не пребывающее неизменно, не неподвижное бытие, в котором покоится, как бронзовое изваяние, — не знающий движения и развития человек. Нет — настоящая действительность, в которой живет настоящий человек — это история, — это вечно взволнованное море классовой борьбы, которое не знает покоя, не знает умиротворения. И слово, отражающее эту историю, не может не отразить ее противоречий, ее диалектического движения, ее «становления».

Всякое слово, сказанное или подуманное, является не просто точкой зрения, а оценивающей точкой зрения. Ведь когда произносим слово или слышим его, мы никогда не воспринимаем слово как нечто оторванное и отрешенное от действительности как какое-то самодовлеющее, самоценное, чисто звуковое явление (как бывает, например, в «заумной»

поэзии). Мы воспринимаем именно ту действительность (природную, историческую или художественную), которую отражает слово как ее знак. Поэтому в живом языковом общении, в живом речевом взаимодействии мы оцениваем слово не как членораздельный звук, связанный с какими-то значениями, не слово как предмет грамматического изучения, — а тот смысл, то содержание, ту тему, которая вложена в слышанное или читаемое слово.

Сказав, что такие-то слова истинны или ложны, справедливы или пристрастны, умны или неразумны, глубоки или поверхностны, — мы относим наше суждение не к самим словам, а к той действительности, которая отражается и преломляется в словах — знаках. Именно поэтому одно и то же слово в устах людей различных классов отражает и различные взгляды, выразит различные точки зрения, покажет различные отношения к одной и той же действительности, к одному и тому же клочку бытия, являющемуся темой данного слова.

Но ведь может быть темой слова и само слово как таковое. Ведь возможны суждения о грамматической неправильности какой-нибудь фразы, о неверном употреблении падежа или числа существительного, наклонения или времени глагола и т.п.

Это отнюдь не противоречит высказанным нами положениям. Грамматическое искажение слова искажает и его жизненный смысл, делает словесный знак неверно отражающим действительность, обращает его и в плохое техническое средство и в плохую идеологическую среду данного социального общения. И тем более, если мы будем говорить не о грубой грамматической ошибке, а о стилистической ценности какого-либо слова. Здесь мы резче всего столкнемся с классовыми отношениями, которые, организуя и эстетический вкус, будут диктовать нам выбор того или иного слова, того или иного выражения, следовательно, и здесь слово становится ареной классовой борьбы, ареной спора различно направленных классовых воззрений и классовых интересов.

Пожалуй, самым категорическим опровержением утверждаемого нами факта отражения в слове разнонаправленных воззрений может послужить вопрос: неужели и в таких словах, как «стол», «лошадь», «дерево», «солнце» и т.п. тоже отражаются и проявляются классовые отношения? «Ведь в разных классах эти слова должны будут оцениваться абсолютно одинаково, ибо понятия о той действительности, которую они отражают во всех классах, остаются тождественными: стол есть стол, а не лошадь, лошадь есть лошадь, а не дерево и т.д.

На это мы должны возразить следующее.

Прежде всего, отдельно выхваченное из потока речевого взаимодействия слово примером служить не может. Далее; хотя слова, отражая объективную действительность, отражают вместе с тем и социально определенную точку зрения на эту действительность, все же нельзя ставить знака полного тождества между объективным, предметным значением слова и выраженной в слове точкой зрения.

Каждый человек, познавая действительность, познает ее с определенной точки зрения.

Весь вопрос только в том, насколько соответствует его точка зрения объективной действительности. Ведь точка зрения не есть личное достижение познающего субъекта; она является точкой зрения того класса, к которому он принадлежит. Следовательно, объективность и полнота точки зрения (мера соответствия слова — действительности) обуславливается положением данного класса в общественном производстве. Разные классы обладают и разными точками зрения; в языке каждого класса существует особая мера соответствия слова объективной действительности. Пролетариат, чья субъективная точка зрения наиболее близко приближается к объективной логике действительности, естественно, не нуждается в искажении этой действительности в словах.

Таким образом, в каждом слове в языке пролетариата точка зрения наиболее полно совпадает с предметным, объективным значением слова.

Итак, даже в области слов, которые на первый взгляд имеют одно и то же постоянное значение и должны выражать одну и ту же постоянную точку зрения, мы видим противоречие и в значениях (в зависимости от ситуации) и в точках зрения (в зависимости от классовой идеологии или профессиональных навыков), например: дерево как материал для работы — хороший или плохой; дерево как предмет спекуляции — выгодный или невыгодный; дерево как редкий или обыкновенный экземпляр какой-нибудь породы; дерево как предмет художественного наслаждения, как тема для картины или карандашного наброска и т.п. и т.п.

Такие слова, как «класс», «революция», «коммунизм», «колхоз», «реконструктивный период», «семья», «истина», «религия» и т.п. разве не будут сопровождаться различными оценками в высказываниях рабочего и буржуа, батрака и кулака, советского интеллигента и концессионера-вредителя? Разве замечательные стихи Маяковского:

Я всю свою звонкую силу поэта
Тебе отдаю, атакующий класс!

совершенно одинаково прозвучат и в сознании человека, обгоняющего историю, и в сознании человека, булькающего в трясине стареньких взглядов и старенького быта?

Итак, вся действительность, все бытие человека и природы не просто отражается в знаке, но и преломляется в нем. И это преломление бытия в идеологическом знаке определяется скрещением разнонаправленных социальных интересов в пределах одного знакового коллектива, т.е. классовой борьбой.

Необходимо заметить, что класс не совпадает со знаковым коллективом, т.е. с коллективом, употребляющим одни и те же знаки идеологического общения. Так, одним и тем же языком пользуются разные классы. Вследствие этого, как мы уже видели, в каждом слове, в каждом идеологическом знаке преломляются разнонаправленные классовые отношения.

И этот момент чрезвычайно важен. Собственно только благодаря этому преломлению взглядов, оценок и точек зрения знак жив и подвижен, способен на развитие. Знак, изъятый из напряженной социальной борь-

бы, оказавшийся как бы по ту сторону борьбы классов, неизбежно захиреет, выродится в аллегория, станет предметом филологического понимания, а не живого социального разумения. Таких умерших идеологических знаков, неспособных быть ареною живых социальных интересов, полна историческая память человечества. Но все же, поскольку о них помнит филолог и историк, они еще сохраняют последние проблески жизни.

Господствующий класс стремится придать идеологическому знаку надклассовый, вечный характер, погасить или загнать внутрь совершающую в нем борьбу классовых отношений, сделать его выражением только одного, прочного и неизменного взгляда.

Всякая живая брань может стать похвалой, всякая живая истина неизбежно должна звучать для многих других как величайшая ложь. Эта внутренняя диалектичность знака раскрывается до конца только в эпохи социальных кризисов и революционных сдвигов. В обычных условиях социальной жизни это заложенное в каждом идеологическом знаке противоречие не может до конца раскрыться, потому что идеологический знак в сложившейся господствующей идеологии всегда несколько реакционен и как бы старается остановить, сделать постоянным и неподвижным предшествующий момент диалектического потока социального становления, отметить и упрочить правду вчерашнего дня как сегодняшнюю правду. Этим определяется преломляющая и искажающая особенность идеологического знака в пределах господствующей идеологии.

Так возникает ответ на поставленные нами два первых вопроса.

Историческая и природная действительность становится темой наших слов как идеологических знаков. Слово, как и всякий идеологический знак, не просто отражает действительность, но и преломляет ее в живом социальном общении, в живом речевом взаимодействии. Это происходит потому, что классовые отношения, — преломляясь в слове, диктуют ему тот или иной оттенок смысла, вкладывают в него ту или иную точку зрения, наделяют его той или иной оценкой. Тем самым классовые отношения: входят в целое высказывание как тот фактор, та действительная сила, которая оказывает решающее влияние и на его стилистическую структуру.

Добавим лишь то, что именно система классовых отношений создает связь между ситуацией и высказыванием, находя свое выражение прежде всего в интонации, которая и устанавливает классовую точку зрения как по отношению к действительности, ставшей темой высказывания, так и по отношению к слушателю, воспринимающему это высказывание.

Покажем теперь на одном примере, как в одних и тех же словах могут отражаться и проявляться различные классовые отношения, принимающие форму различных идеологий.

Для этого удобнее всего воспользоваться высказываниями людей, принадлежащих к той эпохе, идеологические системы которой находятся в наиболее резких формах взаимного противоречия, отражая величайшие экономические противоречия борющихся классов.

Возьмем одно из произведений современной нам литературы, — роман Юрия Олеши «Зависть». Это произведение чрезвычайно удобно для наших целей вследствие своей стилистической заостренности, резко характеризующей социальную установку высказываний героев.

Приводимые нами примеры двух речевых выступлений, трактующих одну и ту же тему, окажутся, конечно, таким же суррогатом жизненных высказываний, как и высказывания Чичикова, рассмотренные в нашей предыдущей статье.

Поэтому снова с большими оговорками предположим, что эти отрывки взяты не из романа, а из стенографической записи высказываний двух действительно существующих лиц — Николая Кавалерова и Ивана Бабищева. Речь у них идет об одном и том же лице — Андрее Бабищеве, директоре треста пищевой промышленности, великом энтузиасте вкусного и дешевого общественного питания.

Вот что говорит о нем Кавалеров:

Я узнал о нем такое:

Он, директор треста, однажды утром, имея под мышкой портфель — гражданин очень солидного, явно государственного облика, — взшел по незнакомой лестнице среди прелестей черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Гарун-аль-Рашидом посетил он одну из кухонь в окраинном, заселенном рабочем доме. Он увидел копоть и грязь, бешеные фурии носились в дыму, плакали дети. На него сразу набросились. Он мешал всем, громадный, отнявший у них много места, света, воздуха. Кроме того, он был с портфелем, в пенсне, элегантен и чистый. И решили фурии: это, конечно, член какой-то комиссии. Подбоченившись, задирали его хозяйки. Он ушел. Из-за него (кричали ему вслед) потух примус, лопнул стакан, пересолился суп. Он ушел, не сказав того, что хотел сказать. У него нет воображения. Он должен был сказать так:

«Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши — от галдежа, — мы заставим картошку волшебным образом, в одно мгновение, сбрасывать с себя шкуру, мы вернем вам часы, украденные у вас кухней, — половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня! Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря, ши разольем океаном, кашу насыплем курганами, глетчером поползет кисель! Слушайте, хозяйки, ждите, мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тягучее, как ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет видно цветам на столах»¹.

¹ Ю.Олеша. «Зависть» 1930 г., стр. 11-12.

Конечно, если бы высказывание на эту тему в данной ситуации произнес сам Андрей Бабичев, — стиль его речи был бы совершенно иной. Но высказывание произносится за него Кавалеровым, типичным представителем упадочной, деклассирующейся интеллигенции.

Кавалеров трусливо ненавидит то, о чем он говорит. Он ненавидит и самого Андрея Бабичева, и мечту его жизни — гигантскую общественную столовую «четвертак». Возможной чужой речью он пользуется как материалом для собственной иронии над темой этой чужой речи, иронии, тонко замаскированной, но которая все же сквозит во всей стилистической структуре этого высказывания.

В самом деле: тема домашнего очага — распадающаяся на два мотива:

- 1) преодоление индивидуального кухонного хозяйства и
- 2) индустриальное преобразование процесса изготовления пищи — облагачается в форму чересчур приподнятой фразеологии, сплошь насыщенной изысканными эпитетами, грандиозными сравнениями.

Однако, чрезмерная поэтизация какого-либо явления бытовой действительности почти всегда несет в себе опасность резкого понижения в наших глазах его истинной социальной ценности. На этот именно аффект и рассчитаны все стилистические приемы речи Кавалерова, выдаваемой им за возможную речь Андрея Бабичева. Ведь если бы во время своего посещения чужой кухни Андрей Бабичев попробовал произнести перед хозяйками — женами рабочих — точь-в-точь такую речь, какую произносит Кавалеров, и именно с его интонацией, он, вероятно, окончательно погубил бы в их глазах идею общественного питания.

Но отвлечемся от иронии, окрасившей собою этот своеобразный перевод мыслей Андрея Бабичева на утрированно-интеллигентский язык Кавалерова. Допустим, что сам Андрей Бабичев на *минуту* превратился в поэта и восторженным языком, с искренней убедительной интонацией заговорил о самых своих заветных мечтах и стремлениях.

Какую же классовую направленность обретут такие слова как: кухня, копать, суп, каша, картофель и т.п., то есть весь комплекс (группа) слов, связанных с понятием домашнего очага? Как они будут расцениваться в классовом сознании говорящего? Будут ли они интонированы им с сочувствием, с нежностью, с умилением или наоборот?

Конечно, все эти слова в устах Андрея Бабичева должны приобрести вполне определенное идеологическое выражение острой ненависти ко всей той замкнутости и тупой ограниченности кухонных интересов, которые поработили и заковали в цепи мещанских взглядов и настроений громадное количество семейств, не вставших еще на путь нового быта.

Приведем другое высказывание тоже на тему домашнего очага, произнесенное братом Андрея Бабичева — Иваном:

— Товарищ! От вас хотят отнять главное ваше достояние: ваш домашний очаг. Кони революции, гремя по черным лестницам, давя детей ваших и кошек, ломая облюбованные вами плитки и кирпичи, ворвутся в ваши кухни. Женщины, — под угрозой гордость ваша и слава — очаг. Словнами революции хотят раздавить кухню вашу, матери и жены!

Что говорил он? Он издевался над кастрюлями вашими, над горшочками, над тишиной вашей, над правом вашим всовывать соску в губы детей ваших... Он учит вас забывать — что? Что хочет вытолкнуть он из сердца вашего? родной дом, — дом милый дом! Бродягами по диким полям истории он хочет вас сделать. Жены, он плюет в суп ваш. Матери, он мечтает с личек младенцев ваших стереть сходство с вами, — священное, прекрасное семейное сходство. Он врывается в закоулки ваши, шмыгает, как крыса, по полкам, залазит под кровать, под сорочки, в волосы подмышек ваших. Гоните его к черту!.. Вот подушка. Я король подушек. Скажите ему: мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших! Наши еще не оперившиеся, куриным пухом рыжеющие головы, лежали на этих подушках, наши поцелуи попадали на них в ночи любви, на них мы умирали, — и те, кого мы убивали, умирали на них, — не трогай наших подушек! Не зови нас! Не мани нас, не соблазни нас, — что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать?.. Вот подушка. Герб наш. Знамя наше. Вот подушка. Пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя...¹

Читатели легко заметят, что несмотря на внешне разную трактовку одной и той же темы, приведенные нами высказывания Николая Кавалерова и Ивана Бабичева по существу ничем не различаются, так как отражают идеологию одной и той же социальной группы, упадочной, деклассирующейся, мелкобуржуазной интеллигенции — идеологию, враждебную Андрею Бабичеву. Поэтому весь комплекс слов, движущихся вокруг данного тематического центра — домашнего очага, — в устах Андрея Бабичева будет неизбежно пропитан интонацией, выражающей его презрение и отвращение к ним (опять-таки не к словам как грамматическим явлениям, а к той действительности, которая отражается этими словами).

В заключение предложим нашим читателям произвести следующий опыт, в высшей степени полезный для навыков стилистического анализа.

Попытайтесь установить, какая классовая идеология лежит в основе ниженапечатанных высказываний, связанных с 9-м января. Каждое из этих высказываний является выражением вполне определенной классовой группировки, идеология которой и обусловила не только различие в точках зрения на одно и то же событие, но и различие их стилистических структур.

В одном из следующих номеров будут рассмотрены наиболее характерные ответы на предложенный нами анализ.

Отрывок №1.

Государь! Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга, разных словий, наши жены и дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.

¹ Там же, стр. 113-114.

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать.

Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению.

Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немного просим, мы желаем только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука.

Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации противозаконно, всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для них.

Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности, в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения.

Нас поработили и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму и отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу... Пожалеть забитого, бесправного, замученного человека — значит совершить тяжкое преступление.

Весь народ — и рабочие и крестьяне — отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организовываться в союзы для защиты своих интересов.

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть — умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты — эксплуататоры рабочего класса и чиновники — казнокрады и грабители русского народа.

Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы: они направлены не ко злу как для нас, так и для тебя, государь. Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком разнообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо (народное) представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал и

управлял собою. Ведь, ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивай его помощь, прими ее, повели немедленно, сейчас же, призвать представителей земли русской, от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть тут будут и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель — пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, для этого повели, чтобы выборы в учредительное собрание происходили при условии и всеобщей, и тайной, и равной подачи голосов.

Это — самая главная наша просьба; в ней и на ней зиждется все, это главный, единственный пластырь для наших больных ран, без которого эти раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти.

Отрывок №2.

Спокойное учение общественной жизни в С.-Петербурге нарушено за последние дни прекращением работ на фабриках и заводах. Оставив свои занятия к явному для себя и своих хозяев ущербу, рабочие предъявили ряд требований, касающихся взаимных отношений между ними и фабрикантами. Возникшим движением воспользовались неблагонамеренные лица, которые избрали рабочих орудием для выполнения своих замыслов и увлекли трудящихся людей обманчивыми, несбыточными обещаниями на ложный путь. Последствиями преступной агитация были многочисленные нарушения порядка в столице и неизбежное в таких случаях вмешательство вооруженной силы.

Явления эти глубоко прискорбны. Порождая смуту, злонамеренные лица не останавливались перед затруднениями переживаемыми нашею родиною в тяжелое время. В руках их трудящийся люд петербургских фабрик и заводов оказался сильным орудием, не дав себе ясного отчета в том, что именем рабочих заявлены требования, ничего общего с их нуждами не имеющие.

Заявляя эти требования и прекращая обычные свои занятия, рабочие петербургских фабрик и заводов забыли также и то, что правительство всегда заботливо относилось к их нуждам как относится оно и теперь, готовое внимательно прислушиваться к их справедливым желаниям и удовлетворять их в меру представляющейся возможности. Но для такой деятельности правительству необходимы прежде всего восстановление порядка и возвращение рабочих к обычному труду. В пору волнений немислима спокойная и благожелательная работа правительства на пользу рабочих. Удовлетворение их заявлений, как бы справедливы они ни были, не может быть последствием беспорядка и упорства.

Рабочие должны облегчить правительству лежащую на нем задачу по улучшению их быта и могут сделать это только одним путем: отойти от тех, кому нужна одна смута, кому чужды истинные пользы рабочих, кому чужды и истинные интересы родины, и кто выставил их как предлог, чтобы вызвать волнения, ничего общего с этими пользами не имеющие. Они должны обратиться к своему обычному труду, который столько же нужен государству, сколько и самим рабочим, так как без него они обрекают на нищету самих себя, своих жен и детей. И возвращаясь к работе,

пусть знает трудящийся люд, что его нужды близки сердцу государя императора, так же, как и нужды всех его верных подданных, что его величество еще столь недавно повелеть соизволил, по личному своему произволению, приступить к разработке вопроса о страховании рабочих, имею- шем свою задачу обеспечить их на случай увечья и болезни, что этой мерой не исчерпываются заботы государя императора о благе рабочих, и что одновременно с сим, с соизволения его императорского величества, министерство финансов готово приступить к разработке закона о даль- нейшем сокращении рабочего времени и таких мерах, которые дали бы рабочему люду законные способы обсуждать и заявлять о своих нуждах.

Пусть знают также рабочие фабрик, заводов и других промышленных заведений, что, вернувшись к труду, они могут рассчитывать на защиту правительством неприкосновенности их самих, семейств их и домашнего очага. Правительство оградит тех, кто желает трудиться, от преступного посягательства на свободу их труда злонамеренных людей, громко взывающих к свободе, но понимающих ее только, как свое право не допус- кать путем насилия до работы своих же товарищей, готовых вернуться к мирному труду.

Отрывок №3.

Рабочие петербургских фабрик и заводов решили идти к царю и у него просить для себя и для всего народа защиты и помощи, петербург- ские рабочие, это — те же крестьяне, только ушедшие из деревни в го- род на заработки. Поэтому в своем прошении царю рабочие не забыли крестьянских бед и нужд.

Для себя рабочие просили защиты от своих хозяев и от заводского начальства, чтобы на фабриках и заводах не грабили, не мучили и не унижали рабочего люда. А для всего крестьянства рабочие просили, что- бы были уменьшены и справедливо разложены подати, чтобы дана была народу земля, чтобы перед законом все были равные, дворянин ли, кре- стьянин ли — чтобы дана была народу защита от земских начальников и прочих чиновников.

Рабочие верили, что царь хочет добра народу, — да мешают чиновники. От них все бедствия народа, все беспорядки в государстве. Чиновники сто- ят стеной между царем и народом, обманывают царя, притесняют народ, внушают царю несправедливые приказы, дурные законы. Поэтому глав- ная просьба рабочих была:

Чтобы царь не с одними только чиновниками совещался о нуждах на- рода и о делах государства, а чтобы вызвал он выборных от всех сосло- вий и у них бы спросил, чем народ тяготится и в чем нуждается. С утра 9-го января, со всех концов города двинулись громадные толпы рабочих к дворцу.

Шли в полном порядке, спокойно, молча, торжественно. Шли стари- ки, женщины, дети.

На путиловском заводе рабочие перед тем, как идти, отслужили моле- бен о здравии царя и двинулись к дворцу крестным ходом, с духовенст- вом, хоругвями, с иконами. Впереди несли портрет царя. А царь на- встречу рабочим послал войска и велел разогнать рабочих оружием.

Войска пешие и конные напали на безоружный народ, стреляли залпами из ружей, рубили саблями, топтали лошадьми.

Женщины вышли вперед — в них стреляли. Старики на коленях просили, чтобы их пропустили к царю — в них стреляли.

Стреляли в крестный ход, в священников, в икону. Пули пробили и портрет царя.

У стен дворца, куда народ пришел «искать правды и защиты» — трубы трубили сигналы к атаке, трещали ружейные залпы, сверкали сабли.

И люди, пришедшие к своему царю «как к отцу», бежали, спотыкаясь о тела убитых, а вдогонку свистали пули...

Так принял царь прошение рабочих.

Рабочие не нападали первыми и не начинали какого-нибудь буйства. Звери-командиры бранью и угрозами заставляли солдат нападать на безоружную спокойную толпу. Солдаты не знали, в чем дело. Начальство сказало им, что рабочих взбунтовали внутренние враги, изменники, друзья японцев.

Но при виде мирной толпы рабочих, у солдат явились сомнения, просыпалась совесть. Особенно в начале было видно, что солдатам тяжело и противно: иные шли со слезами на глазах. Из пехотинцев многие стреляли в воздух или в землю. Даже из казаков иные только для вида махали шашками.

Все же многие солдаты, обманутые начальством, запуганные военной дисциплиной, пролили кровь своих братьев... А после залпов и рабочие ожесточились. Стали добывать оружие, отнимали шашки у городовых, добыли с фабрики неготовые сабельные клинки, тупые, без рукояток. Жалкое это было оружие... а с ним рабочие упорно шли против войска. К концу дня ожесточились и солдаты.

И на улицах русской столицы русские люди дрались и убивали друг друга, как враги, как дикие звери. Сколько погибло народу никто не знает. Правительство объявило, что убито 130 человек. Но правительству никто не верил.

Правительство хочет свалить вину на рабочих. Приказано печатать в газета, будто рабочие, обманутые злоумышленниками и изменниками, подписали какое-то дерзкое прошение, не зная, что в нем написано, и шли мятежной толпой, буйствовали, нападали на войско. Расклеены объявления, будто рабочих подкупили англичане и японцы. Те же выдумки повторяют народу попы по распоряжению синодских архиереев.

Но теперь даже темный народ плохо верит таким выдумкам.

В Петербурге дело было у всех на виду. Никаких иностранцев-подстрекателей не было, были честные русские люди, ни о чем не думавшие, кроме коренных насущных, каждому ясных нужд русского народа. Прощение читалось и обсуждалось рабочими на сходках: десятки тысяч людей это прошение слышали, обдумали, одобрили и с полным сознанием подписали. Рабочие не буйствовали даже и после того, как в них стреляли, рабочие даже останавливали, когда толпа уличных мальчишек и босяков начала громить магазины.

Басня про английские деньги только еще больше опозорила правительство. Английское правительство заявило, что это ложь — русскому правительству пришлось извиниться и снять объявления.

Над трупами погибших товарищей рабочие клялись, что никогда не забудут этого дня, никогда не простят правительству этих убийств. Рабочие называют царя убийцей, предателем народа. Больше они от царя ничего не ждут и не просят. Того, чего они раньше просили, теперь они хотят добиться силой.

Никто не хочет больше полагаться на царя и чиновников. Они сумели только испортить и запутать все дела русского государства, и внешние, и внутренние. Во внешних делах они довели до войны, не умели вести войну, не умеют ее окончить. Во внутренних делах — они на словах обещают народу всякие блага, а на деле только разоряют народ да избивают то рабочих, то крестьян, то студентов.

Только выборные от народа захотят и смогут помочь народу.

Выборные от русского народа окончат справедливым миром, по соглашению с выборными от японского народа, губительную и разорительную для обоих народов войну.

А в русском государстве выборные от народа прекратят внутренние беспорядки, отменяют несправедливые законы, дадут народу защиту от властей и богачей; справедливее разложат подати, прекратят расхищение из государственной казны облитых кровью и потом денег русского народа.

Только немедленное призывание к делам правления выборных от народа может дать России мир и спокойствие и открыть народу дорогу к свету, свободе и счастью.

ИЗ "ЛИЧНОГО ДЕЛА В.Н.ВОЛОШИНОВА"

VII [рукописи.]

**Отчет о работе в ИЛЯЗВе аспиранта В.Н.Волошинова
(п/с методологии литературы).
Руководитель В.А.Десницкин.**

Со времени утверждения меня аспирантом ИАЯЗВа (1 января 1927 г.) мною выполнены следующие работы:

а. 1) Книга "Фрейдизм (критический очерк)" — ГИЗ 1927, стр.163, представляющая опыт применения марксистского анализа к работам Зигмунда Фрейда и его школы.

2) Статья "Проблема передачи чужой речи" (опыт социолингвистического исследования), принятая к печатанию в сборнике "Против идеализма в языкознании" ГИЗ — ИЛЯЗВ 1928 г.

План статьи прилагается.

3) Четыре главы книги "Введение в социологическую поэтику": Глава I — "Социологическая структура элементарных жизненных высказываний"; Глава II — "Социологическая структура «переживания» и «выражения»"; Глава III — "Социологическая структура поэтической формы"; Глава IV — "Социология жанра".

Третья глава прочитана в качестве доклада на заседании п/секции методологии литературы ИЛЯЗВа 28 февраля с.г.

4) Автореферат подготовляемой к печати (принята ГИЗом в мае 1928 года) книги "Марксизм и философия языка" (основы социологического метода в науке о языке).

План книги и автореферат прилагаются.

б. Слежу за иностранной научной литературой (французской и немецкой) по интересующим меня проблемам, в частности, по вопросам поэтики и философии языка.

в. Состою преподавателем истории литературы и истории материальной культуры в Государственном художественно-промышленном техникуме (при Академии художеств) с 1925 года.

г. До получения аспирантской стипендии (до января 1928 года) состоял лектором Губполитпросвета и Губпрофсовета. Читал лекции в рабочих клубах и Домпросветах по историко-литературным и историко-музыкальным темам.

В настоящее время несу обязанности Члена Президиума секции литературы (постановление РАНИОН от 9.XII.1927 г.) и секретаря п/секции методологии литературы (постановление коллегии ИЛЯЗВ от 31/1 1928 г.)

В.Волошинов.

19 5/V 28.

Приложения:

- 1) "Проблема передачи чужой речи..." (оглавление)
- 2) "План и некоторые руководящие мысли работы: «Марксизм и философия языка»".

VIII [рукописи.]

Проблема передачи чужой речи.
Опыт социолингвистического исследования.

1928 г.

Оглавление

Введение.

Гл. I — Экспозиция проблемы.

- 1) Определение "чужой речи".
- 2) Проблема активного восприятия чужой речи в связи с проблемой диалога.
- 3) Динамика взаимоотношения авторского контекста и чужой речи.
- 4) "Линейный стиль" передачи чужой речи (первое направление динамики).
- 5) "Живописный стиль" передачи чужой речи (второе направление динамики).

Гл. II. Косвенная речь, прямая речь и их модификации в русском языке.

- 1) Шаблоны и модификации; грамматика и стилистика.
- 2) Общий характер передачи чужой речи в русском языке.
- 3) Шаблон косвенной речи.
- 4) Предметно-аналитическая модификация косвенной речи.
- 5) Словесно-аналитическая модификация косвенной речи.
- 6) Импрессионистическая модификация косвенной речи.
- 7) Шаблон прямой речи.
- 8) Подготовленная прямая речь.
- 9) Овеществленная прямая речь.
- 10) Предвосхищенная, рассеянная и скрытая прямая речь.
- 11) Явление речевой интерференции.
- 12) Риторические вопросы и восклицания.
- 13) Замещенная прямая речь.
- 14) Пример несобственной прямой речи в русском языке.

Гл. III. Несобственная прямая речь во французском, немецком и русском языках.

- 1) Несобственная прямая речь во французском языке.
- 2) Концепция Tobler'a (несобственная прямая речь, как "eigentumliche Mischung directer und indirecter Rede").
- 3) Концепция Th. Kaleyky (несобственная прямая речь, как "verschleierte Rede").
- 4) Концепция Bally (несобственная прямая речь, как "style indirect libre").
- 5) Критика гипостазирующего абстрактного объективизма Bally.
- 6) Bally и фоссерианцы.
- 7) Несобственная прямая речь в немецком языке (примеры).
- 8) Концепция Eugen'a Lerch'a (несобственная прямая речь, как "Rede als").
- 9) Учение Lorck'a (несобственная прямая речь, как "Erlebte Rede").
- 10) Концепция Lorck'a о роли фантазии в языке.

- 11) Концепция Gertraud Lerch (несобственная прямая речь и вчувствование).
- 12) "Чужая речь" в старофранцузском языке (по G.Lerch).
- 13) "Чужая речь" в среднефранцузском языке и в эпоху Возрождения (по G.L.).
- 14) Несобственная прямая речь у Lafontain'a и La-Bryer'a (по G.L.).
- 15) Несобственная прямая речь у Флобера (по G.L.).
- 16) Появление несобственной прямой речи в немецком языке (по Eug.Lerch).
- 17) Критика гипостазирующего субъективизма фоссерианцев.
- 18) Несобственная прямая речь в русском языке.
- 19) Передача речевой интерференции при чтении вслух (проблема исполнения).
- 20) Систематическое место нашего исследования в науке об идеологиях.

IX [рукописи.]

**План и некоторые руководящие мысли
работы "Марксизм и философия языка"
(основы социологического метода в науке о языке).**

Марксизм и философия языка

Часть первая

Значение проблемы философии языка для марксизма

Глава I

1. Слово, как идеологический феномен *par excellence*.
2. Слово, как схема и как реальный ингредиент всякого идеологического образования.
3. Наука об идеологиях и наука об языке.

Глава II

1. Проблемы отношения базиса к идеологическим надстройкам.
2. Преломление бытия в слове.
3. Материальная объективация в слове "общественной психологии".
4. История культуры и история языка.

Глава III

1. Объективная психология и "вербальная реакция".
2. Слово, как объективный *medium* сознания.
3. Единство внешнего и внутреннего опыта.
4. Внутренняя личность, как идеологема.
5. Теория высказывания, как внутреннего и внешнего обнаружения сознательной психики.

Глава IV

1. Философия языка и проблемы поэтики.
2. Формальный метод и борьба с ним.

Глава V

1. Полемические задачи марксизма.
2. Примат слова в современном буржуазном философском мышлении.
3. Краткий очерк западной и русской философии слова.

Часть вторая

Глава I

1. Философия языка и лингвистика. 2. Формы языка и формы высказывания. 3. Социология языка.

Глава II

1. Речевое взаимодействие. 2. Проблемы диалога. 3. Диалог, как реальная единица языка-речи.

Глава III

1. Социально-политическая структура общества и формы речевого общения. 2. Речевые жанры (типы речевых выступлений) в жизни и в идеологическом творчестве.

Глава IV

1. Учение о функциях языка. 2. Коммуникативные основы языка. 3. "Выражение", как момент коммуникации. 4. "Становление мысли"* в языке, как момент коммуникации. 5. Коммуникация и общение. 6. Становление языка и становление общения.

Глава V

1. Система социальных оценок в языке. 2. Экспрессивная интонация. 3. Смысл и оценка. 4. Семантика и аксиология.

Глава VI

1. Лингвистика и поэтика. 2. Грамматика и стилистика. 3. Грамматика и логика.

Глава VII

1. История культуры и история языка. 2. Выключение субъективно-психических факторов в истории языка. 3. Значение физиологических факторов. 4. Социально-экономические предпосылки истории языка.

Глава VIII

1. Основы социологического метода в лингвистике (подведение итогов).

Часть третья

Опыт применения социологического метода к проблеме высказывания в истории языка

Глава I

1. Отражение условий речевого общения на структуре языка и формах высказывания (речевых выступлений). 2. Раскрытие и осознание различных форм слова в зависимости от меняющихся условий общения. Диалектика слова.

Глава II

1. Высказывание и чужая речь. 2. Отражение говорящей личности в языке. 3. Исторический очерк форм передачи чужой речи в зависимости от меняющихся условий речевого общения.

Глава III

1. Жизнь высказывания в современных условиях речевого общения. 2.

Преобладающие типы идеологического общения в современной культуре. 3. Понижение тематизма слова в литературе и жизни. 4. Переоценка "чистого слова".

Глава IV

1. Преобладание "немых жанров" и "немого слова" (для глаза) в идеологическом общении. 2. Отрешение идеологического слова от реального пространства и времени. 3. Отрешение слова от говорящего. 4. Судьбы риторического слова. 5. Заключение.

Некоторые руководящие мысли работы "Марксизм и философия языка"

1. Проблемы философии языка приобрели для марксизма в настоящее время исключительную актуальность и важность. Можно сказать, что на целом ряде важнейших боевых участков научной работы марксистский метод упирается именно в эти проблемы и не может вести дальнейшего продуктивного наступления, не подвергнув их самостоятельному рассмотрению и разрешению.

В таком положении прежде всего находятся самые основы марксистской науки об идеологиях (об идеологическом творчестве): науковедения, литературоведения, религиоведения, науки о морали и пр. — то есть основы всей той обширной области, которой в немарксистском мировоззрении усвоено название "философии культуры". Основы марксистского учения об идеологическом преломлении становящегося социально-экономического и природного бытия, о законах и формах этого преломления нуждаются в детализации, в уточнении, а главное в конкретизации на определенном идеологическом материале. Только таким путем можно получить конкретный механизм этого отражения и преломления. Без такой конкретизации и детализации действительное осуществление методологического монизма не в общих только декларациях, а во всех деталях конкретной научной работы, конечно, совершенно невозможно.

Здесь и встают перед марксизмом проблемы языка. Ведь слово является идеологическим феноменом *par excellence*. И не только потому, что в его материале осуществлены важнейшие области идеологии (наука, литература, в значительной степени религия и мораль), но и потому, что слово сопровождает, как необходимый ингредиент, вообще все идеологическое творчество. Процесс понимания какого бы то ни было идеологического продукта (картины, музыки, обряда, поступка) не осуществляется без участия внутренней речи. Все продукты и проявления идеологического творчества обтекаются речевой стихией, погружены в нее и не поддаются реальному отделению и обособлению от нее. Всякое идеологическое преломление становящегося бытия в каком бы то ни было значащем материале сопровождается идеологическим преломлением в слове, достигая именно в нем своей наибольшей чистоты и существенности. Слово (хотя бы внутреннее) комментирует всякую идеологию. Слово — самая тонкая, гибкая, а вместе с тем и самая верная преломляющая идеологическая среда. Поэтому-то законы идеологического прелом-

ления, его формы и его механику должно изучать на материале слова. Внесение марксистского социологического метода во все глубины и тонкости до сих пор "имманентных" идеологических структур возможно только «а основе разработанной самим же марксизмом философии языка».

2. Одна из основных проблем марксизма — проблема соотношения базиса к надстройкам — в существенных своих моментах тесно связана с проблемами философии языка. Производственные отношения и непосредственно обусловленный ими социально-политический строй определяют все возможные словесные соприкосновения людей: в работе, в политической жизни, в идеологическом общении (научном, религиозном, художественном). Условиями же речевого общения определяются та или иная степень существенности слова, определяются как формы, так и темы речевых выступлений.

Т.н. "общественная психология", являющаяся по теории Плеханова и большинства марксистов переходным звеном между социально-политическим строем и идеологией в узком смысле (наука, искусство и пр.), реально, материально дана как словесное взаимодействие. Взятая вне этого реального процесса речевого (вообще "знакового") общения и взаимодействия, "общественная психология" превратилась бы в метафизическое или даже мифическое понятие ("коллективная душа" или "коллективная внутренняя психика" и т.п.). Она дана не где-то внутри (в "душах" обобщающихся индивидов), а всецело во вне — в слове, в жесте, в деле. В ней нет ничего не выраженного, внутреннего — все снаружи, все в обмене, все в материале и, прежде всего, в материале слова. Общественная психология — это прежде всего та стихия многообразных речевых выступлений, которая со всех сторон омывает все формы и виды устойчивого идеологического творчества: кулуарные разговоры, обмен мнений в театре, на концерте, в различных общественных собраниях, просто случайные беседы, манера словесного реагирования на жизненные и на житейские поступки, внутрисловесная манера осознавать себя, свое общественное положение и пр. и пр. Общественная психология дана по преимуществу в разнообразных формах "высказывания", в форме малых речевых жанров, до сих пор совершенно не изученных. Эти речевые выступления сопряжены, конечно, с другими типами знакового обнаружения и взаимодействия — с мимикой, с жестикულიцией, с условными действиями и т.п. Эти формы речевого взаимодействия протекают в условиях, созданных социально-политическим строем и непосредственно производственными отношениями. Речевое общение чрезвычайно чутко отражает все происходящие здесь перемены, а изменение речевого взаимодействия, в свою очередь, отражается в формах и темах речевых выступлений. Историю языка и должно строить не как историю абстрактных языковых форм (фонетических, лексических, морфологических), но прежде всего, как историю форм и типов речевого взаимодействия. В нем определяются и формы конкретных речевых выступлений, жизненных и идеологических; и уже отсюда может быть понята история значений и конструкций самого языка, как абстрактной системы языковых норм-возможностей. Продуктивное изучение истории культуры невоз-

можно вне этой конкретной истории идеологического речевого общения, непосредственно определяемого социальным строем и производственными отношениями.

Некоторые соображения о "жизненных высказываниях", их значении и их формах были развиты нами в нашей статье "Слово в жизни и слово в поэзии" ("Звезда", Аенгиз, N 6, 1926, стр. 244—267).

3. Одной из основных и насущнейших задач марксизма является построение подлинно объективной психологии, однако не физиологической и не биологической, но социологической. В связи с этим перед марксизмом стоит трудная задача: найти объективный, но тонкий и гибкий подход к сознательной субъективной психике, подведомственной обычно методам самонаблюдения. Ни биология, ни физиология с этой задачей, конечно, справиться не могут. Необходимо дать научную марксистскую интерпретацию "внутреннего опыта", включить его в единство объективного внешнего опыта. Здесь и встает по-новому проблема "высказывания" и вообще знакового обнаружения субъективной психики, и для самонаблюдения внутренняя жизнь дана как внутренне-речевой процесс в связи с определенной внешней ситуацией переживания и определенными телесными проявлениями. И сам внутренний опыт, таким образом, является лишь особой идеологической интерпретацией некоторых моментов единого внешнего опыта. Проблема эта чрезвычайно сложна и требует выработки особой методологии и конкретной методики изучения высказывания, как выражения, — и прослеживания тончайших связей его с окружающей социальной действительностью.

Значение проблемы высказывания (вербальной реакции) для объективной психологии обсуждалось нами в нашей книге: "Фрейдизм" (критический очерк), Ленгиз, 1927 г. Главы: И-я ("Два направления современной психологии"), стр. 25—40, и 111-я ("Современное сознание, как идеология"), стр. 127—137.

4. Кроме этих чисто положительных задач, связанных с философией языка, перед марксизмом стоят и очень важные полемические задачи. Нужно сказать откровенно, что борьба марксизма с формальным методом до сих пор была не слишком успешной. Здесь сказалось именно отсутствие проработанного марксистского подхода к проблемам теории и истории языка. Это лишило возможности подойти к конкретным вопросам, -выдвинутым формалистами, и в большинстве случаев заставляло ограничиваться Повторением общих мест марксизма. Марксистские основы литературоведения могут быть прочно заложены лишь при условии всесторонней и специальной разработки проблем языка. До этого неизбежно: в теории — провозглашение методологического монизма, а на практике — методологический дуализм: совмещение общесоциологических рассуждений с конкретным формалистическим анализом.

5. В настоящее время в Западной Европе (да и у нас в СССР) проблемы философии языка приобретают необычайную остроту и принципиальность. Можно сказать, что современная буржуазная философия начинает развиваться под знаком слова, причем это новое направление философской мысли Запада находится еще в своем начале. Идет ожив-

ленная борьба вокруг "слова" и его систематического места, борьба, аналогия которой можно найти только в средневековых спорах реализма, номинализма и концептуализма. И действительно, традиции этих философских направлений средневековья начинают до известной степени оживляться в реализме феноменологов и концептуализме неокантианцев. Для последнего направления "слово" становится средоточием между трансцендентальной значимостью и конкретной действительностью, как бы "третьим царством", лежащим между познающим психо-физическим субъектом и окружающей его эмпирической действительностью — с одной стороны — и миром трансцендентального, априорного, формального бытия — с другой стороны. Вместе с тем, форма знака и значения (символическая форма) является общей всем областям культурного творчества, объединяя их. Таково систематическое место слова по учению неокантианцев (см. книгу Kassirer'a: "Philosophie der symbolischen Form", 1925 — основной неокантианский труд по философии языка). Именно на почве философии языка преодолевается в настоящее время сциентизм и логизм марбургской школы и абстрактный этицизм фрейдбургской школы. При посредстве внутренних форм языка (как бы полу-трансцендентальных форм) в застывшее царство трансцендентально-логических категорий вносится движение и историческое становление. На этой почве делаются и попытки переобоснования идеалистической диалектики.

У феноменологов происходит возрождение средневекового реализма в связи с общим возрождением средневековой философии, в особенности Фомы Аквинского. В связи с этим исключительно важное значение приобретает философия слова и имени.

Борьба с этими тенденциями и направлениями философской мысли, нашедшими свое выражение и на русской почве, необходима, но прежде всего необходимо серьезное ознакомление с ними и усвоение того большого положительно ценного материала, который привлечен этими направлениями в процессе работы и обоснования (так, в высшей степени ценной по привлеченному материалу является вышеназванная книга Kassirer'a). В противном случае борьба сведется (как это часто бывало) к одним голым декларациям, дискредитирующим марксизм.

6. Параллельно с этой чисто философской разработкой проблемы языка идет чрезвычайное оживление принципиальных и методологических интересов внутри самой лингвистики. После позитивистической боязни всякой принципиальности в постановке научных проблем и характерной для позднейшего позитивизма враждебности ко всем запросам миросозерцания, — в лингвистике пробуждается обостренное и смелое осознание своих общефилософских предпосылок (неустрашимых ни в одной положительной науке) и методологических тенденций. Достаточно назвать школу K.Vossler'a (идеалистическая нефилология), сумевшую необычно широко раздвинуть кругозор лингвистического мышления и углубить лингвистическую проблематику, правда, на почве несколько неопределенного философского идеализма. Не меньшее значение имеет школа уже умершего лингвиста Антона Марти, философия языка которого, опубликованная еще в начале века, в настоящее время оказывает

громадное влияние. В связи с учением Марти, старое гумбольдтовское учение о внутренней форме языка выражается в новом виде в работах литературоведов Гефеля, Вальцеля, Эрматтингера и др. Чисто лингвистические работы и импульсы к ним исходят из школы философа-гегельянца Бенедетто Кроче. Большое общеметодологическое значение в лингвистике имеет и школа Сиверса. Но кроме этих собственно лингвистических направлений в настоящее время слагается особая дисциплина — "наука о выражении", главным представителем которой является Отмар Руц и графолог Klages (интуитивист). Большой методологический интерес представляют работы женевского лингвиста Bally. Влияние абстрактного объективизма Bally очень велико не только в Западной Европе, но и у нас в России. Существенны также методологические предпосылки таких лингвистов, как Соссюр, Ван-Гиннекен (психологическая лингвистика) и др. Особое место занимают психолого-лингвистические исследования Карла Бюлера и Эрдмана.

7. Этому оживлению и обновлению философской и лингвистической мысли предшествовало необычайное обострение интереса к слову, как такому, и изменение функций его в художественном творчестве.

Начало этого нового восприятия слова и переоценка его значения нужно искать в символизме. Здесь впервые провозглашается культ слова, как такого, и делаются попытки раскрыть в нем новые стороны и указать ему особое, исключительное по важности место в жизни и в культуре. Достаточно назвать Стеф. Малларме. Его теории и творчество имели и имеют решающее влияние на развитие европейской поэзии до настоящего времени. С точки зрения строго исторической "самовитое слово" наших футуристов (В.Хлебников) является лишь поздним эпигонским упрощением и огрублением тех творческих импульсов в переоценке слова, какие были даны Малларме и его кругом. Аналогичные явления мы наблюдаем и в немецком символизме, особенно в кругу Стефана Георге (George-Kreis). Орган этого направления ("Blätter fr die Kunst") имел большое значение в истории развития немецкой поэтики и философии слова; и в настоящее время круг Георге оказывает могучее влияние на развитие историко-литературной и теоретико-литературной мысли. Достаточно сказать, что к этому кругу принадлежит Гундольф. В футуризме, а затем в экспрессионизме концепция слова и его функции меняются, но его значение — его примат — остается прежним.

Этот культ слова, как такого, обостренный интерес к его чисто-словесным энергиям и моментам совершенно был чужд реализму, натурализму и импрессионизму (все равно, натуралистическому или психологическому). Любовь к слову классиков не была связана с исключительной переоценкой его, как такого, с провозглашением его высшею реальностью. В классицизме не было почвы для какого бы то ни было словесного радикализма. В мировоззрении классика, в его мышлении о мире было что-то повыше слова, с чем слово должно было соотноситься и чему оно должно было пиететно служить. Слову принадлежала, правда, очень почетная, но все же служебная роль. На почве рационализма неоклассической эпохи не было места и для философии слова в

современном смысле (в смысле самостоятельной, а иногда и прямо ос- новной философской науки). Характерны лишь такие концепции, как идея "универсальной грамматики" Лейбница. Эта мудрая неоклассиче- ская любовь к слову, не забывающая за ним и реалий, свойственна и классической филологии. Характерно, что современная переоценка слова родилась не на почве классической филологии, а варварской, то есть на почве романистики и германистики, находящихся в оппозиции к методам "консервативной" классической филологии.

8. Этот обостренный интерес к слову, как к главному герою мировоз- зрения, культ слова, — начинается и у нас с появлением символизма. Здесь сложилась антропософская концепция слова А.Белого, мистиче- ский магизм Бальмонта ("Поэзия, как волшебство"), более сдержанный и более научный интерес к слову у Брюсова. Релятивистским разложе- нием и снижением этого символического культа слова явилось "самовитое слово" футуристов, перешедшее в теорию формалистов. В настоящее время интерес к слову идет у нас по двум направлениям. Оба направления вышли из символизма, но разошлись и осложнились раз- личными новыми западноевропейскими влияниями. Первое направление, пройдя через футуризм и осложнившись позитивистическими влияниями, исходящими от некоторых направлений западноевропейского искусство- ведения и лингвистики, образовало так называемый формальный метод. Другое направление, сложившееся под влиянием западноевропейской фи- лософской мысли — неокантианской, но главным образом феноменоло- гической (Гуссерль) — нашло свое выражение в философии слова Гус- тава Шпета, его учеников и последователей. Крайние формы это направление, уже оторванное от всяких строго философских традиций, принимает в "Философии имени" Лосева.

9. Чем объясняется эта исключительная, совершенно новая роль слова в современном мировоззрении? Это движение отнюдь не случайно. Марксизм должен вскрыть его социологические корни.

Изменение функций слова в художественном творчестве и изменение его оценивающего восприятия в мышлении и в мирозерцании обуслов- лено изменением форм речевого общения и взаимодействия. Изменилось и взаимоотношение речевых выступлений с другими социальными акта- ми. Произошло как бы смещение слова в социальной жизни.

В тех группах буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции, которые являются выразителями нового ощущения слова, произошло двоякое от- решение слова от действительности. Произошло как бы отделение слова от конкретной вещи, от реалии, близость к которой характерна для всего среднего периода развития буржуазии, для реализма и натурализма. Ес- ли в этих направлениях на первый план выдвигались в слове функции изображения реальной действительности, то в новейший период является тенденция к самостоятельности слова: слово не изображает внешнюю ему действительность, оно преобразует ее действенно с помощью зало- женных в нем самом символических энергий. Своего наиболее крайнего выражения эта тенденция достигла в экспрессионизме. В связи с этим процессом усилились интерес и чуткость к тем сторонам слова, которые

отрешают от действительности, служа самодостаточным выражением говорящего (это находит свое проявление в преобладании лирики в символизме и экспрессионизме). Одновременно с этим отрешением слова от вещи в ее реальном аспекте идет отрешение его от дела, то есть отрыв его от реальных возможностей на почве крайнего словесного демократизма и словесной свободы при полном отсутствии действительной, реальной, политической свободы. Это выражается и в том типичном для символизма, футуризма и экспрессионизма крайнем утопическом радикализме в политических и социальных вопросах, который столь ярко отразился у нас — в мистическом анархизме Вячеслава Иванова и Георгия Чулкова, а на Западе — особенно в радикализме германских экспрессионистов. Этот политический радикализм в большинстве случаев проникут мистическими тонами. Какие бы формы он ни принимал, в основе его всегда лежит переоценка самостоятельной силы слова, исключительное доверие к его творческим энергиям.

Эти изменения обусловлены соответствующими социально-экономическими сдвигами внутри мелкой и крупной европейской буржуазии.

Особое значение имеет связанное с теми же социальными переменами изменение форм речевых выступлений. Для современного идеологического общения характерно преобладание "немых" жанров: для литературы — романа, для познавательного творчества — больших кабинетных научных исследований. Основная форма нашего восприятия идеологического слова — чтение "про себя". Этим слово изъято из реального пространства и времени, отрешено от говорящего (автора и исполнителя), представляется самодовлеющим образованием.

Таким образом, изменение социальных условий и форм идеологического речевого общения находит свое выражение как в изменении функций слова в художественном творчестве, так и в его философской интерпретации.

В каждом живом слове заложена действенная социальная оценка. Именно она превращает каждое слово-высказывание (т.е. конкретное речевое выступление), в значимый социальный акт (как бы ничтожна ни была значимость его, например, значимость какого-нибудь житейского высказывания). Всяким своим высказыванием человек занимает активную социальную позицию. Эти активные речевые выступления совершаются во всех сферах социальной жизни: в трудовом, профессиональном общении, политическом, жизненно-практическом (в семье, в товарищеском кругу и т.п.), наконец, в идеологическом общении в узком смысле слова. Чем существеннее и увереннее выражена в слове оценка, тем более выступает в высказывании на первый план его социально-действенная и смысловая сторона. Наоборот, при понижении уверенности и существенности оценки, вследствие ли расслоения той социальной группы, к которой принадлежит говорящий, или вследствие оттеснения ее на периферию социальной жизни, на первый план речевого сознания начинают выступать иные моменты слова: его субъективные и индивидуальные речевые особенности. Понижается тематизм слова, оно овеществляется, становясь моментом не события, а неподвижного быта. Или же в идеологическом обществе — слово становится условным, — манерой,

а не актом. Все это в корне изменяет восприятие слова и его трактовку в художественном творчестве и в познавательной философской мысли. И вот, одновременно со словом-символом мы встречаем в художественном творчестве овеществленное слово (в футуризме, в формалистических теориях). Оба направления тесно связаны между собой, выражая лишь две стороны одного и того же социального процесса.

Конечно, полная ясность в понимании этих судеб слова в современном обществе возможна лишь после изучения форм и типов речевого общения, словесного взаимодействия и тех изменений, которые они претерпевают под непосредственным воздействием социально-политического строя и производственных отношений.

Одновременно с раскрытием социального генезиса этой новой концепции слова в искусстве и в познании, должна идти "имманентная" критика современной философии слова во всех указанных направлениях ее. Обнаружение социальных корней какого-нибудь познавательного утверждения далеко еще не исчерпывает вопроса о нем. Необходима деловая критика данного идеологического явления по существу, подготавливающая положительное разрешение поставленной им проблемы. Раскрытие социального генезиса, так сказать, социальная генетика какой-нибудь теории и критика ее по существу неразрывно связаны между собой, являясь лишь двумя сторонами единой познавательной ориентации по отношению к данной теории.

10. Для построения марксистской социологии языка необходимо прежде всего осознание того методологического пути, на котором получены лингвистические абстракции "формы языка". От чего именно происходит абстрагирование этих форм? В каком направлении оно идет, какими предпосылками руководится?

Прежде всего, таким образом, необходимо выяснить непосредственную данность языка. Ведь все лингвистические элементы: фонемы, морфемы и пр. — очень далеки от этой непосредственной данности. Физическое явление звука и физиологический процесс его осуществления (также ответная физико-физиологическая реакция собеседника) отнюдь не являются последней непосредственной данностью языка. Язык нельзя понять в системе природы, но лишь в системе истории. И физическая и физиологическая сторона в нем является лишь абстрактным моментом конкретного социального явления. Оставаясь в пределах этой абстракции, мы никогда не приходим к полноте социального смысла и значения речи. Физическое, звуковое тело речи и физиологический процесс ее осуществления погружены в сложный мир социальных отношений и связей между говорящими в пределах той социальной среды, к которой они принадлежат. Если бы лингвистическое абстрагирование исходило из физико-физиологической данности речи, то лингвистика была бы способна построить только область физиологической фонетики. Но при этом условии не могло бы быть речи о семасиологизованном звуке, т.е. о фонеме в точном смысле слова (как, например, понимает фонему Бордуэн-де-Куртенэ). Конечно, и речи не могло бы быть о морфеме, синтагме, семеме — ведь один и тот же, с точки зрения физической и физиологи-

ческой, звук (если мы допустим его абсолютную тождественность и все необходимые для этого физико-физиологические условия: то же самое звуковое окружение, то же ударение, то же положение по отношению к фразовому акценту и пр.) будет все же глубоко различен в зависимости от того, принадлежит ли он корню, суффиксу или флексии, является ли данное слово подлежащим или сказуемым (независимо от ударения), высока ли степень смысловой значительности данного слова и пр. В зависимости от этих различий положения звука не в физическом и физиологическом комплексе, а в значащем конкретном комплексе языка, как социального факта, будет находиться и историческая судьба данного звука в развитии языка. В историю языка звук входит не как физический и физиологический феномен, но как элемент полновесного языкового явления. Недостаточен поэтому учет его физико-физиологической ситуации. Звук и его меняющаяся физико-физиологическая ситуация в языке — только непродуктивная абстракция. Поэтому-то непродуктивны и бесплодны все попытки установления звуковых законов (Zantgesetze) на физико-физиологической базе. Восполнение какими-то ни было субъективно-психическими факторами дела не изменит, так как сами эти факторы должны развернуться в ряде внешних обнаружений, прежде всего — словесных же, чтобы стать предметом объективного учета и изучения.

В действительности, той конкретной непосредственной данностью, от которой исходит лингвистическое абстрагированье языковых форм, является осмысленное монологическое высказыванье. При этом ему противостоит не активная реплика, а пассивное понимание. "Понятое высказыванье" (художественное, научное, деловое, житейское) — вот та реальность, из которой исходят лингвисты. Все формы языка находятся лингвистом лишь на фоне и в пределах отдельных высказываний (например, каких-нибудь литературных памятников). Само же высказывание в его целом уже не является объектом лингвистики. В процессе абстрагирования от целых высказываний языковых форм и создается лингвистическая концепция языка, как системы языковых норм. Язык, как система норм, конститутивен для всякого высказывания, однако лишь для элементов высказывания, а не для высказывания в его целом. Характерно, что и все синтаксические связи даны лишь в пределах высказывания, формы же самого высказывания, как целого, не поддаются синтаксическим определениям. Ни одна чисто лингвистическая характеристика не может исчерпать высказывания в его целом.

Чем же руководится лингвистическая абстракция? — Не целями познания и объяснения, а целями практического научения языку. Поэтому лингвистические формы и не являются той реальностью, в которой возможна история. Не может быть действительного исторического становления в этом мире абстракций. Сами по себе они не могут создать исторического ряда, не могут воздействовать друг на друга, обуславливать друг друга. Поэтому-то история языка и населена фиктивными конструкциями переходных форм. С помощью таких фикций можно внести некоторую логику в развитие языка, простой рядоположенности форм можно

придать подобие некоторой необходимой последовательности, но с действительным историческим Становлением это ничего общего не имеет.

11. Для того чтобы подойти к действительной жизни языка, необходимо гораздо шире и существеннее охватить его непосредственную данность. Этою данностью является отнюдь не "понятое (или понятное) высказывание", а социальное собрание речевого взаимодействия, по крайней мере, двух высказываний. Реален язык только в диалоге. Высказывание является лишь элементом речевого взаимодействия, оно установлено на ответную реакцию, все равно, актуализуется она или «ст. И установка понимающего активна и диалогична. Монологизм лингвистики сделал для нее недоступным целый ряд в высшей степени важных языковых явлений. Прежде всего остались непонятыми все многообразные формы взаимодействия между высказываниями, например, между репликами диалога. Отношения и связи между целыми высказываниями глубоко и существенно отличаются от связей и отношений между элементами внутри высказываний (морфологических и синтаксических). Связи между репликами глубоко и принципиально отличны от связей между синтаксическими элементами внутри реплики. Отсутствие понимания этих особых форм связей между элементами речевого взаимодействия (т.е. между целыми взаимно-ориентированными высказываниями) отразилось и на изучении связей внутри высказываний: именно осталось непонятым все то в высказывании, что выводит за его пределы, что указывает в нем на другое высказывание (реплику). Связи между некоторыми крупными элементами внутри высказывания (например, почти всегда между абзацами, разделенными красной строкой) по своему типу аналогичны связям между целыми самостоятельными высказываниями (репликами в диалоге), но не имеют аналогий с паратаксическими и гипотаксическими связями внутри сложного предложения. Односторонний монологизм лингвистики препятствовал до настоящего времени более глубокому пониманию и изучению этих важнейших языковых связей.

12. Диалог, в узком смысле этого слова, является лишь одной из форм, правда, важнейшей, речевого взаимодействия. Но можно понимать диалог широко, понимая под ним не только непосредственное, громкое речевое общение людей лицом к лицу, а всякое речевое общение, какого бы типа оно ни было. Книга, т.е. печатное речевое выступление, также является элементом речевого общения. Оно обсуждается в непосредственном и живом диалоге, но помимо этого, оно установлено на активное, связанное с проработкой и внутренним реплицированием, восприимчивое и на организованную печатную же реакцию в тех разнообразных формах, какие выработаны в данной сфере речевого общения (рецензии, критические рефераты, включение в сводку, определяющее влияние на последующие работы и пр.). Далее, такое речевое выступление неизбежно ориентируется на предшествующие выступления в той же сфере, как самого автора, так и других, исходит из определенного положения научной проблемы или художественного стиля. Таким образом, печатное речевое выступление как бы вступает в идеологическую беседу большого масштаба: на что-то отвечает, что-то опровергает, что-то под-

тверждает, предвосхищает возможные ответы и опровержения, ищет поддержки и пр. Всякое высказывание, как бы оно ни было значительно и закончено само по себе, является лишь моментом непрерывного речевого общения (жизненного, литературного, познавательного, политического). Но это непрерывное речевое общение само в свою очередь является лишь моментом непрерывного всестороннего становления данного социального коллектива. Отсюда возникает важная проблема: изучение связи конкретного речевого взаимодействия с внесловесной ситуацией, ближайшей, а через нее и более широкой. Формы этой связи различны, а в связи с той или иной формой различные моменты ситуации получают различные значения (так, различны эти связи с различными моментами ситуации в художественном общении или общении научном). Никогда речевое общение не может быть понято и объяснено вне этой связи с конкретной ситуацией. Словесное общение неразрывно сплетено с общением иных типов, вырастая на общей с ними почве производственного общения. Оторвать слово от этого вечно становящегося, единого общения, конечно, нельзя. В этой своей конкретной связи с ситуацией речевое общение всегда сопровождается социальными актами неречевого характера (трудовыми актами, символическими актами ритуала, церемоний и пр.), являясь часто только их дополнением и неся лишь служебную роль. Язык живет и исторически становится именно здесь, в конкретном речевом общении, а не в абстрактной лингвистической системе форм языка и не в индивидуальной психике говорящих.

Итак, методологически обоснованный порядок изучения языка должен быть таков:

1) формы и типы речевого взаимодействия в связи с конкретными условиями его;

2) формы отдельных высказываний, отдельных речевых выступлений в тесной связи со взаимодействием, элементами которого они являются, т.е. определяемые речевым взаимодействием, жанры речевых выступлений в жизни и в идеологическом творчестве;

3) исходя отсюда, пересмотр форм языка в их обычной лингвистической трактовке.

В таком порядке протекает и реальное становление языка: становится социальное общение (на основе базиса), в нем становится речевое общение и взаимодействие, в этом последнем становятся формы речевых выступлений, и это становление, наконец, отражается в изменении форм языка.

13. В настоящее время в лингвистике усвоено различение функций языка; этих функций обычно насчитывается пять (некоторые лингвисты увеличивают число функций, другие его уменьшают): коммуникативная функция, экспрессивная, номинативная, эстетическая и познавательная (язык, как становление мысли). Это учение о функциях языка должно быть в корне переработано на новой методологической основе. Методологически совершенно недопустимо ставить коммуникативную функцию языка рядом с другими его функциями (экспрессивной, номинативной и пр.). Коммуникативная функция вовсе не является одной из функций языка,

но выражает само существо его: где язык — там коммуникация. Все функции языка развиваются на основе коммуникации, являясь лишь оттенками ее. Нет выражения эмоций и аффектов вне сообщения их: выразить себя в слове — значит сообщить себя. Далее и названия (номинации) вне сообщения не существует. Нет и становления мысли вне сообщения и речевого взаимодействия. Мысль становится, дифференцируется, уточняется, обогащается лишь в процессе становления, дифференциации и расширения общения. Каждое конкретное высказывание (коммуникативное по существу) обыкновенно выполняет несколько функций и речь может идти лишь о преобладании одной из них. Далее, учение о функциях высказывания должно быть конкретизировано и детализовано в тесной связи с особенностями социальных ситуаций высказывания.

14. Особое место занимает проблема смысла высказывания и связанная с ней проблема изменения значений в истории языка. Эта проблема, усиленно разрабатываемая в настоящее время в школе Антона Марти и у феноменологов, для социологии языка имеет первостепенное значение. Основной порок всех относящихся к этой проблеме теорий сводится к совершенному непониманию роли социальной оценки в языке. Социальная оценка — необходимый и основной момент значения. Нет слова, равнодушного к своему предмету. Оценка нельзя отождествлять с эмоциональной экспрессией, которая является лишь обязательным оборотом социальной оценки. Социальная оценка формирует самое содержание значения слова, т.е. конкретное определение, которое дает слово своему предмету. Пресловутая "внутренняя форма слова" у большинства апологетов-теоретиков является лишь искаженным и научно-непродуктивным выражением для заложенной в слове социальной оценки. Социальная оценка определяет все конкретные связи слова, как в пределах высказывания, так и в пределах взаимодействия нескольких высказываний. Поскольку лингвистика до сих пор не имела дела с целым высказыванием, как социального акта, и со взаимодействием высказываний, как социальным событием, она не могла подойти к социальной оценке. Изучая абстрактные формы языка, лингвист отвлекался от социальных оценок, формы же высказывания, как конкретного речевого выступления, определяются именно господствующей в языке системой социальных оценок. Вовлечение значения в языковой кругозор, закрепление его в системе значения языка предполагает его предварительное вовлечение в целостный социальный кругозор данной говорящей группы. Теория социальной оценки в слове проливает яркий свет на историю изменений значений слов в языке, впервые создавая для изучения этих изменений подлинную научную базу.

Сказанным нами в основных чертах определяются основы социологического метода в лингвистике. Опыт конкретного применения нашей общеметодологической концепции к разработке одного из специальных вопросов синтаксиса был нами осуществлен в работе: "Проблемы передачи чужой речи" (опыт социо-лингвистического исследования), имеющей появиться в сборнике "Против идеализма в языкознании" (ИЛЯЗВ — Гиз, 1928 г.).

Впервые под одним переплетом публикуются все тексты «Бахтина под маской». Выражение «все тексты», разумеется требует пояснений, не укладывающихся в одно, пусть даже развернутое определение. Наиболее точно, пожалуй, будет субъективное: все тексты, относительно которых у нас нет никаких серьезных сомнений, что создал их Михаил Михайлович Бахтин. В текстологическом комментарии неуместно вдаваться в подробности, желающие узнать их могут обратиться прямо к статье «"Делу" — венец», где приводятся наиболее подробные из имеющихся на сегодняшний день текстологические доказательства бахтинского авторства.

Если главным текстологическим принципом нашего издания «Тетралогии» (М., «Лабиринт», 1998) было изменять орфографию до современной и оговаривать в комментариях все изменения, то сейчас практически стереотипно воспроизводя вошедшие в «Тетралогию» «Фрейдизм», ФМЛ и МФЯ по изданию 1998 года (без повторного воспроизведения постраничных текстологических комментариев, интересных только для специалистов по бахтинскому вопросу), мы сочли возможным для статей применить противоположный принцип и стремились полностью сохранить все особенности текста оригинала¹. Это избавило книгу от постраничного текстологического комментария изменений орфографии, а читателям предоставило возможность немного приблизиться к языку той эпохи. Таким образом, в книге как бы возникает диалог эпох чересполосицей орфографических норм.

Указанная чересполосица возникла в частности из-за более последовательно, чем в отдельных выпусках «Бахтина под маской», проведенного хронологического принципа в расположении текстов в книге. Мы учли критику Н. И. Николаева, данную в рецензии² на вторую полумаску пятой маски нашей серии, и приняли предложенную им хронологию ранних статей. Очередность поступления остальных работ в книгу также соответствует очередности их первых публикаций и вроде бы никаких сомнений не вызывает. Единственное отступление от хронологического принципа — публикация ключевых отрывков их «Дела» В. Н. Волошинова.

Так же как и в «Тетралогии», произведена одна глобальная структурная унификация. План главы, данный во «Фрейдизме» и МФЯ после названия главы, повторяется по пунктам в качестве небольших подзаголовков внутри-главы по модели ФМЛ. Дело в том, что места для этих подзаголовков за редким исключением (в МФЯ) автором фактически указаны: во «Фрейдизме» цифрами, а в МФЯ интервалами между абзацами и (или) короткой линией по центру страницы - в нашей публикации подзаголовки везде заменяют эти членения. Унифицировано по этой модели место подзаголовков и в «Современном витализме».

И. Пешков

¹ Исключение — снятие запятой перед "как" в значении "в качестве".

² Н. И. Николаев. Издание наследия Бахтина как филологическая проблема // ДКХ, №3, 1998. С. 120-121.

ФП: М.М.Бахтин. К философии поступка (1921) // Философия и социология науки и техники. М., "Наука", 1986, с.82-157.

ЭСТ: М.М.Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., "Искусство", 1979.

ВЛЭ: М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., "Художественная литература", 1975.

Ф: В.Н.Волошинов. Фрейдизм. Критический очерк. М.-Л., "ГИЗ", 1927.

ФМЛ: П.Н.Медведев. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. Л., "Прибой", 1928.

МФЯ: В.Н.Волошинов. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., "Прибой", 1929.

ЛВ: Лекции и выступления М.М.Бахтина 1924-1925 гг. в записях Л.В.Пумпянского / Вступ. заметка, подготовка текста и примечания Н.И.Николаева // Бахтин как философ. М., "Наука", 1992, с. 232-246.

ДКХ: Диалог. Карнавал. Хронотоп: журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М.М.Бахтина (с 1998 г. ежеквартальный журнал исследователей, последователей и оппонентов М.М.Бахтина) / Издатель и главный редактор Н.А.Паньков.

КОММЕНТАРИИ¹

УЧЕНЫЙ САЛЬЕРИЗМ

Статья "Ученый сальеризм" напечатана в № 3 ленинградского журнала "Звезда" за 1925 год (с. 264-276). Перепечатывается с этого издания.

Статья, насколько нам известно, переведена на английский, французский, итальянский и японский языки. "

гг

ПО ТУ СТОРОНУ СОЦИАЛЬНОГО. О ФРЕЙДИЗМЕ

Статья "По ту сторону социального. О фрейдизме" гравилась на страницах журнала "Звезда" (1925, № 5, с. 186-214) под рубрикой "Научно-популярный раздел"; перепечатывается с этого издания. Статья републикована в кн.: Валентин Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук / Сост. и ред. Д.А.Юнова. Спб., 1995, с. 25-58.

Переведена на английский, французский, итальянский и японский языки.

СОВРЕМЕННЫЙ ВИТАЛИЗМ

Статья впервые опубликована в журнале "Человек и природа", 1926, № 1-2; это - единственный из "спорных текстов", авторство которого принадлежит М.Бахтину неоспоримо. С.Г.Бочаров сообщает: "У меня хранится фотокопия журнального оттиска статьи И.И.Канаева «Современный витализм» <...>, на которой рукой подписного автора засвидетельствовано:

¹ Мы приводим развернутые комментарии к неперездававшимся текстам, к остальным — лишь краткое библиографическое описание источников.

«Эта статья написана целиком М.М.Бахтиным, я только снабдил его литературой и способствовал изданию в журнале, где меня знали в редакции.

3 ноября 75 г. И.Канаев»

(См.: Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // "Новое литературное обозрение", 1993, № 2, с. 74).

Статья "Современный витализм" к настоящему времени опубликована, насколько нам известно, на английском, итальянском и японском языках. Статья была впервые републикована в России в ДКХ, 1993, №4, с.99-115; перепечатывается с указанного оригинального издания 1926 г.

СОЦИОЛОГИЗМ БЕЗ СОЦИОЛОГИИ

Статья "Социологизм без социологии" напечатана в журнале "Звезда", № 2 за 1926 год (с. 267-271). Переведена к настоящему времени на английский, итальянский, а также, по не проверенным сведениям, на японский, корейский (Южная Корея) и китайский языки.

СЛОВО В ЖИЗНИ И СЛОВО В ПОЭЗИИ

В.Волошинов. Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда, 1926, № 6. К настоящему времени статья переведена на английский, французский, японский, итальянский и др. иностранные языки. Впервые републикована в России в журнале "Риторика", 1995, № 2.

ФРЕЙДИЗМ

Книга «Фрейдизм. Критический очерк» впервые вышла в свет в 1927 году в издательстве «ГИЗ» (М.-Л.) под фамилией Волошинова, опубликована на Западе на английском (1976 и 1987 - в США), французском, итальянском, русском (см.г М.М.Бахтин.—В.Н.Волошинов. Фрейдизм. Критический очерк. Нью-Йорк, Chelidze Publishers, 1983, с послесловием А.Тамарченко) и других языках.

ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Книга «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику», опубликованная в Ленинграде в 1928 году в издательстве «Прибой», в 70-80 годы была переведена на основные западноевропейские языки (в США вышла двумя изданиями: в 1978 и в 1985 годах), на японский; репринтное издание книги вышло в США еще в начале 80-х гг., причем - в отличие от других переводных или репринтных изданий «спорных текстов» за рубежом - под фамилией Бахтина (см.: М.М.Бахтин.* Формальный метод в литературоведении. Нью-Йорк, «Серебряный век», 1982).

МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

Книга «Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке» опубликована в Ленинграде в 1929 году в издательстве «Прибой». К настоящему времени доступна зарубежному читателю в переводах на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, корейский, сербохорватский и др. иностранные языки.

О ГРАНИЦАХ ПОЭТИКИ И ЛИНГВИСТИКИ

Статья опубликована в сборнике статей "В борьбе за марксизм в литера-

турной науке". Под ред. В.Десницкого, Н.Яковлева, Л.Цырлина. Л., "Прибой", 1930, с. 203-240. Перепечатывается с этого издания.

Статья "О границах поэтики и лингвистики" - яркий пример позиции Кружка Бахтина в литературно-теоретической ситуации 20-х годов. Что это произведение Кружка, обнаруживается по наличию прямого оппонента - В.В.Виноградова; "сам" М.Бахтин, как можно заметить, всегда интересовался массивными, "вековечными" процессами духовно-идеологической жизни и слова - "большим временем", в котором риторические и индивидуальные, более или менее официальные позиции современников и оппонентов были только "обертонными": обертонами "голосов" и архитектурных сдвигов и в историческом, и в научном сознании. Что это произведение Кружка Бахтина, следует из двух признаков. Во-первых, наличие имманентной критики, язык которой не может быть адекватно прочитан ни изнутри времени, в которое он встроен или вписан, ни извне этого времени, содержательная плотность которого никак не вписывается в любое понятие или образ "20-х годов". Во-вторых, — наличие иной, самостоятельной научной и философской позиции по тем же самым вопросам и проблемам. Все это довольно ярко проявляется в отношении М.Бахтина и его учеников к научно-теоретическим воззрениям В.В.Виноградова.

"В течение более сорока лет (1924-1965), - отмечает Нина Перлина, - оппонентом Бахтина постоянно выступал В.В.Виноградов. Казалось, сама жизнь организовала их полемику. И Бахтин, и Виноградов родились в 1895 г. Оба учились в Петербургском университете и окончили его в 1918 году, первый - по классической и романской филологии, второй как славист школы Шахматова. Оба были хорошо начитаны в области русской и европейской филологии и дополняли знания по литературе и лингвистике чтением современных трудов по психологии и философской эстетике". (См.: Перлина Н. Диалог о диалоге: Бахтин - Виноградов. 1924-1965. Цит. по кн.: "Бахтинология". Под ред. К.Г.Исупова. Спб., 1995, с.155-156.). К моменту начала сорокалетней полемики Бахтин уже подверг критике основные философские и научно-теоретические основания современного ему мышления и сознания; обычный филологический анализ поэтому не схватывает ни суть полемики, ни суть диалога Бахтина с "материальной эстетикой".

Если по отношению к "ревтроеке" русского формализма (В.Б.Шкловский, Б.М.Эйхенбаум, Ю.Н.Тынянов) Бахтин и его ученики вскрывают "методологический авантюризм" (как сказано в комментируемой статье), опасный потому, что он выступает наряду с эвристическими ходами мысли, постановкой новых вопросов, введением нового материала и т.п., то "филологизированный подход" В.В.Виноградова (тоже, конечно, возникший как ответ на "взвихренный" новый опыт вне науки и потому - в науке самой), критикуется за прямо противоположную тенденцию. Дело не только в том, что в своем целом "материальная эстетика" в литературоведении приводит к тому, что "поэтика прижимается вплотную к лингвистике, боясь отступить от нее дальше, чем на шаг (у большинства формалистов и у В.М.Жирмунского), а иногда и прямо стремясь стать только отделом лингвистики (у В.В.Виноградова)" (ВЛЭ, 10-11). Еще важнее особенность традиционной гуманитарной науки, подвергнутая критике во всех работах Бахтина и его Кружка, которую немецко-американский ли-

тературовед Сэмюэль Вебер в своем предисловии к немецкому изданию МОЯ (1975) назвал "некрофилологической" особенностью (см.: Вебер С. Рассечение: об актуальности Волошинова. - В кн.: "Бахтинский сборник. №1", М., 1996, с. 120-121). Нужно заметить, что на Западе именно в оппозиции к "некрофилологическому" академизму опубликованные под именем В.Н.Волошинова исследования, прежде всего МФЯ, удостоились таких оценок, как "brilliant" ("блестящий"), "exciting" ("освежающий, волнующий"), "extremely penetrating" ("чрезвычайно проникновенный"), "surprisingly contemporary contribution" ("удивительно современный вклад"), "genuine lost classic" ("настоящая потерянная классика") и т.п. Подобно тому, как подлинно продуктивная критика формализма и модернизма в постсоветской России покамест еще невозможна (поэтому отсутствует адекватный анализ понятия "материальная эстетика"), точно так же на почве разложения советского сознания в 60-90-е годы, "некрофилологизм", имеющий глубокие европейские корни (МФЯ, 85-86), так сказать, ожил и в науке и в идеологии за счет реальной тенденции сохранить культурное наследие прошлого.

Отметим еще одну сторону в научно-инонаучном диалоге Бахтина с Виноградовым: это — проведенная Бахтиным и недооцененная его оппонентами вплоть до сегодняшнего дня граница между диалогом и риторикой. Можно прямо сказать, что новая очередная реанимация риторики в последние годы и десятилетия - это рецидив "формализма после формализма"; "ведь восстановление риторики в ее правах чрезвычайно укрепляет формалистические позиции. Формалистическая риторика - необходимое дополнение формалистической поэтики. Наши формалисты были вполне последовательны, заговорив о необходимости возрождения рядом с поэтикой риторики" (ВЛЭ, 81, примечание).

Если в ФМЛ на первом плане была амбивалетная де-маскировка попятной революционности "формального метода", то в МФЯ и примыкающих к этой книге статьях и рецензиях, и в многолетней полемике М.Бахтина с В.В.Виноградовым в центре внимания - своеобразный симбиоз двух полюсов лингвистики и поэтики — "абстрактного объективизма" и "индивидуалистического субъективизма", симбиоз, постсовременное завершение которого в лингвистике, литературоведении, филологии мы наблюдаем на исходе XX века и в России, и на Западе. В самом деле: с одной стороны, в качестве объекта полемики в статье "О границах поэтики и лингвистики", перед нами, по точному определению А.П.Чудакова, "сциентистский максимализм, граничащий с научным романтизмом", "бюфоновский всеохватывающий романтический максимализм" (см.: Чудаков А.П. Язык русской литературы в освещении В.В.Виноградова // Виноградов В.В. Язык и стиль русских писателей. М., 1990, с. 332, 333.). С другой стороны, этому радикализованному историцизму и сциентизму противопоставлена концепция "социологической поэтики" или (как скажет Бахтин в "Слове в романе" в 1934-1935 гг.), "социологической стилистики" (ВЛЭ, 113) - новая методология литературного и "металингвистического" анализа, условием возможности которой является, как мы ее называем, программа "социальной онтологии причастности" ("архитектоники ответственности", по терминологии М.Холквиста). Поэтому недопустимо сводить "социологическую поэтику"

и, соответственно, критику "несоциологичности" воззрений В.В.Виноградова к узнаваемому языку, стилю и тону эпохи. Как всякая эпоха, 20-е годы искали и хотели выразить то, что было лучше и глубже этого времени; упрек в несоциологичности менее всего был формальным и внешним.

Мы едва ли ошибемся, если скажем, что проблемным фокусом, где совершались все схождения и расхождения между "сциентистским максимализмом" В.В.Виноградова (имеющим, как проницательно заметил А.П.Чудаков, одновременно и романтическую, и систематизаторскую, "бюффоновскую" подпочву) и диалогической "социологией" М.Бахтина и его друзей, - фокусом этим была *проблема автора*. Здесь нет возможности подробно сопоставить и проанализировать "диалог" между двумя выдающимися учеными; достаточно будет только прояснить собственно бахтинский подход к проблеме автора. Задача требует, во-первых, реконструировать научно-филологическую позицию Бахтина, во-вторых, — разбить обычную научно-филологическую плоскость, в которой рассматривается полемика Бахтина и его Круга против "формального метода (на самом деле материального)" (ЛВ, 234). Отметим систематические моменты критики виноградовского понятия "образ автора" с точки зрения бахтинской онтологии причастности, от которой производны "социологическая поэтика*", "металингвистика", и "диалогизм" М.М.Бахтина:

а) Автор причастен изображаемому им в произведении событию, но при этом он внеаходим своей собственной образной системе — произведению. "Образ автора" может быть частью замысла, образной системы произведения, но не является подлинным автором (ни в качестве творца, ни в качестве такового-то человека "в жизни"). В этом смысле причастная внеаходимость автора "присутствует", но не "представлена".

б) "Эта внеаходимость (но не индифферентизм)", которая "позволяет художественной активности извне (разрядка М.М.Бахтина. - В.М.) объединять, оформлять и завершать событие" (ВЛЭ, 33), чем более эстетически продуктивна, тем менее она себя рефлексировывает. Иначе это можно выразить так: причастная внеаходимость автора в произведении - чистая энергия присутствия — не может быть понята ни из самого произведения, ни даже из самого творящего авторского сознания, потому что действительный автор причастен бытию вне себя. Критикуя в ФМЛ "три основные методологические ошибки русской критики и истории литературы", Бахтин "под маской" только по-новому повторяет мысль своей философской программы, где говорилось, что "эстетическая деятельность бессильна овладеть моментом перехода и открытой событийности бытия, и ее продукт в своем смысле не есть действительно становящееся бытие" (ФП, 82), когда говорит: "Не учитывалось, что содержание отражает идеологический кругозор, который сам является лишь преломленным отражением реального бытия. Раскрыть изображенный художником мир - не значит еще проникнуть в действительную реальность жизни" (ФМЛ, 30).

Этот второй момент чрезвычайно важен и труден для понимания: он предполагает для филолога и литературоведа (а прежде них - для философа и эстетика) установить границу между образом (со всеми его значимостями) и за- или вне-образными бытийными значимостями. Только на этом пути возможно понимание "завершения" — по ту сторону конструктивизма и

деконструктивизма, понимание "эстетического телоса" (ВЛЭ, 20). Здесь уместно вспомнить принципиальное отталкивание Г.-Р.Яусса - через сорок лет после М.Бахтина - от эстетической метафизики, метастазы которой сплошь и рядом заявляют о себе в филологических науках XX в.: "Чагго не признаваемая открыто зависимость от платоновского наследия, - говорит Яусс, - заявляет о себе также и в философии искусства нашего времени, особенно в же в тех случаях, когда истине, реализованной искусством, отдается предпочтение перед опытом, с которым мы имеем дело в искусстве, опытом, который проявляется в эстетической деятельности в качестве творения человека (als Werk des Menschen)". - Jaus H.-R. Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik Bd. 1. München. 1977, S.7. Для нас здесь не важно то, что разделяет русского и немецкого автора; существенно то, что их объединяет: это - отталкивание от метафизики, от "покоя эстетической мифологемы" (ЛВ, 236), внебытийственного, отпавшего от становления покоя, способного "парализовать мир" (ЛВ, 234). (Ср. в этой связи с возражениями В.Н.Топорова, уже в наше время, против критики романтической метафизики поэта Ф.И.Тютчева в известной статье Л.В.Пумпянского в альманахе "Урания", 1928 г.: Топоров В.Н. Заметки о поэзии Тютчева (Еще раз о связях с немецким романтизмом и шеллингианством). // Тютчевский сборник". Под ред. Ю.М.Лотмана. Таллинн, 1990, с.92-93).

В этом контексте по-видимому нужно видеть и критику понятия "образ автора" в поздней работе Бахтина "Проблема текста": "В отличие от реального автора созданный им образ автора лишен непосредственного участия в реальном диалоге (он участвует в нем лишь через целое произведение) ..." (ЭСТ, 295 и след.). По мысли М.Бахтина, концепция "образа автора" В.В.Виноградова есть, на самом деле, эстетико-теоретизированная "парализация" (и изоляция) действительного автора-творца и реальной, не этим творцом сотворенной действительности, которой причастен и сам автор (его слово не может быть ни первым, ни последним словом). В этом пункте М.Бахтин со значительным опережением "герменевтического поворота" Г.-Г.Гадамера, подобно немецкому философу, выходит за пределы и так называемой "эстетики произведения" (Werkästhetik) и лежащей в ее основе эстетико-метафизической мифологемы "гения" (см. соответствующие разделы в книге: Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М, 1988, особенно "Границы литературы, с.210-215, "Границы искусства переживания", с. 115-126, "Критика абстракции эстетического сознания", с. 134-147).

в)Отсюда возникает пограничная эстетике и мировоззрению проблема "индивидуальности автора". "Он был убежден, - говорит А.П.Чудаков о В.В.Виноградове, - в уникальности однажды выраженного и не-передаваемости его на языке другой эпохи" (Чудаков А.П. Цит. соч., с. 333). Для М.Бахтина сама уникальность ("единственность") мыслится и описывается как выходящая за границы замкнутого "тела смысла" - одновременно и в своем бытии, и в нашем событии с этим единственным бытием, каким бы оно ни было: от "открытой" эпохи до завершенной незавершенности мира и личности в романе Достоевского.

Статья "О границах поэтики и лингвистики" по-русски публикуется впервые. Переведена к настоящему времени на ряд иностранных языков.

С.487: *"Боязнь прогрессирующей дифференциации точных наук..."* Эта тенденция (опирающаяся на романтико-органицистские, "холистские" мифологемы и идеологии Нового времени, в особенности XIX и XX вв.) совершенно чужда М.Бахтину. Философский пафос дифференцирующегося "идеологического становления", характерный как для "Невельской школы" (см.: Махлин В.Л. Невельская школа. // "Русская философия. Малый энциклопедический словарь". М. 1995, с.359-365), так и для ленинградского периода Кружка, указывает на связь бахтинской мысли с философской классикой и с гуманистической традицией, ближайшим образом - с неокантианством. В этом отношении Кружок далек от эсхатологического катастрофизма таких современников М.Бахтина, как П.А.Флоренский или М.Хайдеггер, Г.Лукач или А.Ф.Лосев (как ни различны и даже противоположны друг другу эти мыслители). Распад "картины мира" не только обнаруживает эстетические, теоретические и идеологические презумпции предполагавшегося единства; он обнаруживает действительность и "прибыльность" самого бытия и культуры по сравнению с традиционным интеллектуализмом с его приматом "идеи" или "мировоззрения",

С.488: *"Это направление индивидуалистического субъективизма..."* Систематическую критику "индивидуалистического субъективизма" см.: МФЯ, 58-63.

С.490: *"...как совершенно справедливо отмечает П.Н.Медведев..."* Примечательный факт как бы полемики между учениками. Для П.Н.Медведева, надо полагать, важнее было подчеркнуть футуристически-скандальные и погромный - в "революционном" смысле - дух "ревтройки", достоевских "русских мальчиков" из ОПОЯЗа: то самое, что в "медведевском", духе В.Н.Волошинов называет "своеобразной, полунаучной, полулитературной конквистой". Со своей стороны, автор данной статьи делает акцент на другой стороне дела; он хочет сказать, что подлинная опасность "формализма" - не в "детской болезнй левизны", которая не может продолжаться слишком долго; скорее подлинный дух "материальной эстетики" выражают и продолжают не столько инициаторы, сколько "попутчики" и даже прямые оппоненты ее. Русский формализм в этом смысле есть гротескное общее место гуманитарно-филологических наук в XX веке, подобно тому как материалистическая экзистенциализация "здесьнего бытия" у М.Хайдеггера и экзистенциальная материализация "классового сознания" у Г.Лукача тогда же, в 20-е годы, уже предопределили принцип материальной эстетики - принцип "отступничества по отношению к смыслу" (С.С.Аверинцев).

С. 495: *"...ирреальная фикция..."* Ср.: "В лингвистике до сих пор еще бытуют такие *фикции* (курсив М.Бахтина. - В.М.) как «слушающий» и «понимающий» (партнеры «говорящего»), «единый речевой поток» и др. <...>. Нельзя сказать, чтобы эти схемы были ложными и не соответствовали определенным моментам действительности, но, когда они выдаются за реальное целое речевого общения, они становятся научной фикцией" (ЭСТ, 246). Не случайно, что и в процитированном месте из работы начала 50-х гг. "Проблема речевых жанров", как и в статье 1930 г., речь идет о "научной фикции". Совершенно ясно в контексте критики научных воззрений В.В.Виноградова и в более общей связи, - что для Бахтина "научная фикция" - это на самом деле эстетизованная "парализация" опыта, ограни-

чивающая науку и превращающая ее в маску-самозванца идеологически небескорыстной "научности"; ее не следует путать с наукой.

С.501: "...застывает в образе монологического высказывания", "фонологическое высказывание" - это лингвистическая абстракция, "научная фикция", но не потому (как полагает абстрактный объективизм в эпоху смерти человека и смерти автора), что индивидуальное высказывание — фикция, а потому, что лингвистический теоретизм не схватывает и не описывает событийно-онтологическую завершенность высказывания как условие возможности принципиальной незавершенности "речевого общения". Ср.: "Завершенность высказывания - это как бы внутренняя сторона смены речевых субъектов: эта смена потому и может состояться, что говорящий сказал (или написал) все, что он в данный момент или при данных обстоятельствах хотел сказать" (ЭСТ, 225). Завершенность высказывания - "печать индивидуальности, лежащая на произведении" (там же, 254) - условие возможности диалога, не-завершенности и незавершенности "речевого общения". Лингвистический теоретизм не схватывает момент исходящего реплицирования в высказывании, "способность определять активную ответную позицию других участников общения" (там же, 261).

С. 502: "Подобная лингвистическая материализация..." Материальная эстетика, "материализуя" предмет исследования в своем отталкивании от отвлеченного интеллектуализма, становится бессознательной маской "возвращения вытесненного" (М.Франк), каковым и является "абстрактный объективизм", радикализовавший все то, от чего он отталкивается. Ср. с общей оценкой "формализма" в незавершенной статье М.Бахтина 30-х гг.: "Основной порок формализма вовсе не в том, что он сосредоточил свое исключительное внимание на форме, оторвал ее от содержания, вообще игнорировал содержание, одним словом, что он переоценил форму в искусстве. Такое понимание было бы плоским и совершенно неверным. Вообще нельзя переоценить (разрядка в тексте. - В.М.) форму в искусстве, можно только недооценить ее. <...> Формализм - это прежде всего - крайне нигилистическое упрощенчество художественной формы". См.: ДКХ, 1995, № 4, с. 142-143.

С. 502: "Эстетический объект никогда не дан..." - Эстетическую действительность - "архитектонику видения" (ФП, 129) - нельзя описывать как только содержательно-смысловую данность или "сущность": любое отвлеченно-познавательное определение такой данности не схватывает конкретной единственности видения - продуктивного отношения автора к герою. Поэтому - вопреки и благодаря тому, что "мир" эстетического видения и художественного произведения в своей завершенности не отражает непосредственно своей же онтологически-событийной причастности "событию бытия" - мир искусства "своей конкретностью и проникнутостью эмоционально-волевым тоном из всех культурно-отвлеченных [?] миров (в их изоляции) ближе к единому и единственному миру поступка", форме "архитектонического строения действительного мира-события" (ФП, 128).

С.504: "Возможна ли индивидуальная оценка? Мы утверждаем, что такой оценки нет". Ср. записи М.М.Пришвина из дневника 1930 г.: "Это, конечно, матери воспитывали у нас чувство собственности, которое было краеугольным камнем всей общественности; с утратой матери новый чело-

век трансформирует это чувство в иное: это будет чувство генеральной линии руководящей партии, из которой будет вытекать следствие - способность к неслыханному для нас рабочему повиновению..." См.: М.Пришвин. 1930 год // "Октябрь", 1989, № 7, с. 163. Центральное положение бахтинской программы социальной онтологии: я сам, "от;себя" только, не могу ни начать, ни оформить, ни завершить свое высказывание, ни тем более сделать его последним (не нуждаясь в "другом", в его ответном высказывании). По Бахтину, только в процессе "постепенного забвения авторов - носителей чужих слов" (ЭСТ, 365) возможна фикция "естественного субъекта" и чисто индивидуального (самозванного) авторства. Ср. в поздних записях: "Поиски собственного слова на самом деле есть поиски именно не собственного, а слова, которое больше меня самого" (ЭСТ, 354). Здесь преодолевается натуралистическая оппозиция индивидуальное /социальное, функциональный смысл которой ограничен определенными сферами "официального сознания" (государственно-правовой, "общественной" и т.п.). Характерно, что М.М.Пришвин в упоминавшемся дневнике 1930 г., с полной ясностью переживая и описывая не только факты, но и дальнейшие последствия тотальной структуралистской коллективизации сознания в СССР на всех уровнях, в то же время установил и описал ограниченность того индивидуалистического сознания буржуазного типа, которое было "краеугольным камнем" дореволюционной интеллигентской "общественности" и которое стало не вполне трагической жертвой собственной иллюзии об "общем" и собственного, по-бахтински, "неалиби в бытии". Ср. запись от 10 ноября 1930 г. (неделю спустя после завершения В.Н.Волошиновым работы над статьей): "Последние дни мне возвращается такая мысль: будто бы жил я на планете Земля и мне казалось, что я жил сам собой, пусть выходило - для других, но это "для других", мне казалось, я беру только от себя. И вот я на другой планете какой-то, где все чужие мне, и вдруг оказывается, что и от себя, и для себя - все исчезло, оказывается я не сам собой питался, а нечувствительно для себя получал побуждения и веру в себя от других..." - Пришвин М. 1930 год. Цит. изд., с. 168.

С.505: *"Если бы оценка <...> была действительно индивидуальной <...> она осталась бы в организме"*. Совершенно ясно, что "индивидуальный" здесь синоним биологически-органицистской фикции, фикции изолированной вещи или тела. "Тела смысла" (ЭСТ, 334) - действительный предмет и философии, и "металингвистики" М.Бахтина - это социальные тела, как сказано в конце первого издания книги Бахтина о Достоевском (1929), "тела общения" (ЭСТ, 187).

С.506: *"...выражение предшествует переживанию"*. То есть форма есть условие возможной определенности содержания, автор - условие возможности "других" - "героев" этого мира (но не себя самого); "другость" есть условие возможности переживания в жизни и в поэзии (в частности, "лирического" переживания); жанр речи есть условие возможности индивидуального высказывания; "память жанра" - условие возможности духовно-идеологического становления, незавершенности и личности, и истории. Бахтин, несомненно, согласился бы с мыслью одного из своих философских учителей, Э.Гуссерля: "Der Andere ist der erste Mensch, nicht ich" (Первый человек - это не я, а другой"). - Цит. по: Husserl, Scheler, Heideg-

ger in der Sicht neuer Quellen. Hrsg.von Ernst Wolfgang Ort. Frankfurt a. M., 1978, S.71. Отсюда же у Бахтина примат "овнешнения" перед внутренней речью: овнешнение предшествует внутреннему ("человеческому голосу") не как "стирание" последнего, а как условие его возможности. Ср.: "Стиль органически включает в себя указания во-вне (курсив наш - *ВМ.*) соотносительность своих элементов с элементами чужого контекста. Внутренняя политика стиля (сочетание элементов) определяется его внешнею политикой (отношением к чужому слову). Слово как бы живет на границе своего и чужого контекста" (ВЛЭ, 97).

С. 508: "Ни одно слово не дано художнику в его лингвистически девственном виде". Ср. в работе "Слово в романе": "Только мифический Адам, подошедший с первым словом к еще не оговоренному девственному миру, одинокий Адам, мог действительно до конца избежать этой диалогической взаимоориентации с чужим словом в предмете. Конкретному историческому человеческому слову этого не дано: оно может лишь условно и лишь до известной степени от этого отвлечься" (ВЛЭ, 92).

С. 509: "Человеческий крик - социален". Ни марксист, ни экзистенциалист, ни тем более структуралист и/или неструктуралист так не скажет. Ведь "социальное" все они должны мыслить как альтернативу "индивидуальному", а последнее - как "слишком человеческое". Либо теоретизированная (сиречь "научная") "структура" социальности, либо экзистенциальное "личное начало", паразитирующее на "ценностной экспрессии" преднаходимых другостей (забытых авторов): третьего не дано на почве "всей декадентской и идеалистической (индивидуалистической) культуры" XIX и XX вв. (ЭСТ, 312).

С. 511: "... не столько звуковой результат, сколько интонационная установка". Творческий характер высказывания - не в звуке, как таковом, но и не в немом письменном знаке, не в "тексте", тоже как таковом, а в интонационно установленном человеческом голосе. Голос не как теоретизированной или эстетизированной абстракции, а в его продуктивной ограниченности и "обращенности", в его обусловленности и безусловности, в его способности быть и больше, и меньше того, что он отражает и "преломляет". Ср.: "...от любого текста, иногда пройдя через длинный ряд посредствующих звеньев, мы в конечном счете всегда придем к человеческому голосу, так сказать, упремся в человека" (ВЛЭ, 401).

СТИЛИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

Статья опубликована в трех номерах журнала "Литературная учеба" в 1930 г.: № 2, с.48-66 ("Что такое язык?"), № 3, с.65-87 ("Конструкция высказывания"), № 5, с.43-59 ("Слово и его социальная функция"). Републикуется впервые.

Статья (точнее, цикл статей, причем незавершенный) "Стилистика художественной речи" представляет собою, насколько можно судить, популярное изложение или переложение прежде опубликованных под фамилией В.Н.Волошинова работ и, вместе с тем, стилистический и фактический конец Кружка М.Бахтина и "Бахтина под маской" 20-х годов. В этом смысле аналогичны "Стилистике..." и другие статьям В.Н.Волошинова 1930 г. также обе статьи "самого" М.Бахтина о Л.Н.Толстом 1930 г. (в кн.: Толстой Л.Н. Поли. собр. художеств, произв., т. 11, М.-Л. с. III-XX и в кн.: Толстой

Л.Н. Поли. собр. художеств, произв., т. 13. М.-Л., 1930): Бахтин здесь (и отныне) без маски в прежнем смысле, но под маской в более глубоком смысле; это не помешало ему в границах речевой тактичности высказать и варьировать свои "бахтинские" темы и идеи (о "толстовском нигилизме", например) и даже - перед отправкой в ссылку и в авторское небитие-заживо на тридцать с лишним лет - ненавязчиво указать на границы ленинского подхода к творчеству Л.Толстого (см.: Бахтин М.М. Литературно-критические статьи, с. 103-104).

"Стилистика художественной речи" мало что прибавляет нового к известным нам работам Кружка. Тем не менее ей посвящен основательный разбор в двойном контексте: в контексте "школы Бахтина" и в контексте самой ситуации написания этой работы в связи с темой "ситуации" — в статье: Ray Parrot. (Re)Capitulation, Parody, or Polemic? // Language and Literary Theory / Ed. by I.R. Titunik. 1984/85. Ann Arbor, p. 463-488. Отметим в самом сжатом виде, опираясь на эту работу, некоторые аспекты тематической и дискурсивной проблематики "Бахтина под маской", выразившиеся в этой статье.

Во-первых, в "Стилистике...", несмотря на то, что работа эта оценивается Р.Пэрротом как "тактическое отступление" (р.464), воспроизводится сложное понятие "социального", характерное для В.Н.Волошинова и бахтинского подхода в целом. В этой связи уместно подчеркнуть, что в западных работах - в отличие от постсоветских - не только фиксируется (неизменно позитивно) "социологический" пафос Кружка или "школы", но специально отмечается "печать индивидуальности, лежащая на произведении" (ЭСТ, 254), как признак его социально-диалогической природы. Р.Пэррот приводит поучительную критику в адрес В.Н.Волошинова в советской печати, "разоблачающую" (в особом смысле этого слова) псевдо-марксизм Кружка. См.: Р.Шор. Неотложная задача // "Литература и язык в политехнической школе", 1930, № 1, с. 32. Небесполезно сопоставить такого рода "разоблачения" не столько с некомпетентными постсовременными попытками уличить Бахтина в сознательном или бессознательном сталинизме (тоталитаризме), сколько с такими деконструкциями, как упоминавшаяся выше статья С.Вебера "Рассечение: об актуальности Волошинова" (1975), в которой знакомое бывшему советскому человеку, как говорится, "не по Гегелю", стремление уничтожить идейно всякую значимость индивидуального человеческого голоса, повторяется с опорой на идеи Ж.Деррида. Западный теоретик не хуже советских идеологов образца 1930 г., но более проникновенно и последовательно разоблачает основной недостаток автора МФЯ и границу его актуальности: "Сознание - сокровенное этой жизни"; это - основная улика (см. Вебер С. Рассечение: об актуальности Волошинова // "Бахтинский сборник - III". М., 1997, с. 123). То, что "фокусом языкового процесса" является в Кружке конкретный человек, не индивидуалистически понятая индивидуальность, неприемлемо для С.Вебера; он точнее других фиксирует именно то в "школе Бахтина", что отличает ее от структурно-семиотических (само-) деконструкций, хотя для него это — признак ограниченности.

Во-вторых, "Стилистика художественной речи", как подробно показано в статье Р.Пэррота, не в меньшей, если не в большей мере выражает удивив-

тельную особенность всех исследований М.Бахтина, "под маской" или без: подход и форма, способ тематизации той или иной научной проблемы как-то входит в существо самой проблемы, восполняя и "карнавализуя", *приобретая* постановку и разрешение ее конкретно-исторической "ситуации" и "авторству", Р.Пэррот отмечает наличие "эзоповского подтекста, резонирующего на протяжении всей статьи" (Parrot R, op. cit. p. 485). Американский исследователь цитирует то место "Стилистики...", где дается характеристика стилистической позиции слова Николая Кавалерова, героя романа БСШлеши "Зависть": "Возможной чужой речью он пользуется как материалом для собственной иронии над темой этой чужой речи, иронии, тонко замаскированной, но которая все же сквозит во всей стилистической структуре этого высказывания" ("Литературная учеба", 1930, № 5, с. 53), замечая по этому поводу: "Статья Волошинова - это двуголосое высказывание (a double-voiced utterance). <...> Разве эти слова, выражающие стратегию автора статьи не могли бы, по сути дела, стать эпиграфом всех трех частей «Стилистики художественной речи»?" (Parrot, p. 485).

В этом пункте Р.Пэррот опирается на хронологически первую концепцию "Бахтина под маской", предложенную еще на рубеже 80-х гг. его соотечественником Майклом Холквистом. М.Холквист предложил в шумевшей в то время в американской гуманитарии статье "Политика репрезентации" концепцию прочтения практически всех опубликованных в советское время работ Бахтина, согласно которой все тексты, подписанные или неподписанные Бахтиным к печати, - в отличие от неопубликованных при жизни ранних рукописей и последующих заметок, фрагментов и т.п., - это своеобразное "чревовещение" автора, "аллегория". "Бахтин, - писал в той давней статье М.Холквист, - освоил и использовал код одной идеологии, чтобы сделать публикуемым идейное содержание (the message) совершенно другой". См.: Holquist M. The Politics of Representation // Allegory and Representation. Ed. by Stephen J.Greenblatt. Baltimore. 1981, p. 176.

Завершая комментирование корпуса текстов "Бахтин под маской", мы присоединяемся к холквистовской концепции, которая за счет дополнений 80-х и 90-х годов, даже оспоренная, скорее подтвердилась.

Статья "Стилистика художественной речи", насколько нам известно, к настоящему времени переведена на английский французский и итальянский языки.

В.Л.Махлин

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА В.Н.ВОЛОШИНОВА

Материалы из личного дела В.Н.Волошинова впервые опубликованы Н.А.Паньковым (ДКХ, 1995, № 2). Воспроизводится по этому изданию.

〈Дилу〉 — ВЕНЕЦ,
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ АВТОРСТВЕ МЛ БАХТИНА
В <СПОРНЫХ ТЕКСТАХ>

1. Предыстория текстологии

Когда-то (уже давно) С. С. Аверинцев призвал считать вопрос об авторстве книг и статей, вышедших в двадцатых годах, относительно которых многие посвященные не сомневались¹, что создал их М. М. Бахтин, неразрешимым принципиально². Причины такого отношения к вопросу не совсем ясны, вероятно, они были этического характера³, потому что столь квалифицированный филолог-классик разумеется не мог не знать, что проблема атрибуции текста при хорошей сохранности памятника и при наличии уже атрибутированных параллелей — вполне разрешима⁴. Тем не менее авторитет Г. С. Аверинцева, возможно, сыграл свою роль, и реальной текстологической атрибуцией «Фрейдизма», «Формального метода в литературоведении» (далее, как уже почти официально принято, ФМЛ⁵), «Марксизма и филологии языка» (далее — МФЯ), а также целого ряда статей, вошедших в серию «Бахтин под маской», инициированную и изданную автором бегающих перед читателем строк⁶, долгое время никто не занимался. В ка-

¹ См. воспоминания В. Н. Турбина, С. Г. Бочарова, Вяч. Вс. Иванова и др., многие из которых опубликованы или републикованы в журнале «Диалог. Карнавал. Хроно-топ» (далее — ДКХ).

² Аверинцев С. С. М. М. Бахтин: ретроспектива и перспектива // Дружба народов, 1988, № 2.

³ Сейчас мы пока оставляем в стороне этические тонкости вопроса, тем более, что мне приходилось их разбирать неоднократно (последний раз в статье «Новый органон» // М. М. Бахтин. Тетралогия. М., 1998), хотя они, естественно, заслуживают еще большего внимания, но это особый поворот темы, который после того, что уже об этом сказано правильнее осуществлять после окончательного текстологического доказательства.

⁴ Ссылку на методы классической филологии недавно сделал Н. И. Николаев. См.: Я. И. Николаев. Издание наследия Бахтина как филологическая проблема // ДКХ, № 3, 1998. С. 123.

⁵ Существует еще вариант сокращения ФМ, но эта аббревиатура кажется мне менее выразительной и в фонетическом, и в смысловом отношении.

⁶ Приходится, поступаясь скромностью, подчеркивать этот факт, поскольку возникла тенденция, считать идею, сформулированную названием серии, заимствованной из западных источников. Последним об этом опять-таки Н. И. Николаев: он пишет, что В. Л. Махлину «не удалось полностью освободиться от влияния выдвинутой биографами Бахтина К. Кларк и М. Холквистом концепции "Бахтина под маской", вызвавшей, кстати, появление всей серии изданий под этим названием» — ДКХ, № 3, 1998. С. 141-142. Общеэстетическая, совсем не специфически бахтинская идея авторской маски была связана биографами Бахтина с бахтинской идеей друго-

кой-то степени это незнание очевидно занимательным вопросом связано с тем, что в целом мало кто высказывал сомнения в принадлежности Бахтину «основного текста работ» (по формулировке Вяч. Вс. Иванова⁷, сделанной при жизни Бахтина и последним, по крайней мере публично, ничуть не оспоренной).

Незадолго до появления серии «Бахтин под маской» и особенно со времени ее появления (1993 г.) сомнения стали высказываться и соответственно стали делаться попытки сопоставительного анализа *спорных*, или, по терминологии С. С. Аверинцева, *деветероканонических* текстов (чуть ниже мы разберем вкратце эти попытки), но магическая формула, гласящая, что вопрос в принципе не может быть*решен окончательно, сохранилась и уже в 1995 (в комментариях к «Личному делу Волошинова», тогда только что опубликованному!) и еще в 1998 лингвист и историк лингвистики В. М. Алпатов упорно утверждает, что «вопрос о разграничении авторства в книге, по-видимому, никогда не будет решен до конца из-за отсутствия данных»⁸. О каких данных идет речь? Перед нами три больших книги, требующие атрибуции, перед нами тексты, подписанные Бахтиным, есть⁸ несомненно оригинальные книги П. Н. Медведева... Что еще нужно филологу, какие нужны данные? Исторических свидетельств тоже предостаточно, но история — другой вопрос, а с этого, бахтинского вопроса необходимо снять прежде всего проклятие текстологической непостановки — остальные проклятия вскоре падут сами собой (если, конечно, заниматься нормальным филологическим исследованием).

Нельзя сказать, впрочем, что до 1995 года вопрос в текстологической плоскости совсем не ставился. Еще в восьмидесятых годах в Америке про-

ст» — связь интересная, небеспорая и уж во всяком случае требующая дальнейшего углубления и уточнения в отношении спорных текстов. Но даже если предположить задним числом существование концепции «Бахтин под маской» до выхода серии, все равно у серии в ее замысле нет никакой связи с *той* концепцией. Разумеется, название повело к соответствующим интерпретациям и ретроспекциям — основная заслуга здесь принадлежит, конечно, В. Л. Махлину, но его комментарии не дают никакого повода заявлять, что выдвинутая «биографами Бахтина К. Кларк и М. Холквистом концепция "Бахтина под маской"», вызвала, «появление всей серии изданий под этим названием». Идея серии возникла у меня еще в середине восьмидесятых годов, а в конце их я начал предпринимать реальные шаги к ее воплощению. Это, понятно, не исключает, что нечто концептуально родственное могло существовать где-то еще, но мне, к сожалению, об этом не было известно.

⁷ *Иванов Вяч. Вс.* Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Труды по знаковым системам. Вып. VIII (Ученые записки Тартуского университета. Вып. 308). Тарту, 1973. С. 44. Перепечатано в ДКХ, 1996, №3.

⁸ *Алпатов В. М.* Лингвистическое содержание книги «Марксизм и философия языка» // М. М. Бахтин. Тетралогия. М., 1998. С. 517. И еще позднее он затрагивает «неподдающийся решению ввиду отсутствия документального материала вопрос об авторстве...» (*В. М. Алпатов.* М. М. Бахтин и В. В. Виноградов: опыт сопоставления личностей // Бахтинские чтения III. Витебск, 1998. С. 17).